Дб-380
Б-24.

НАРОДОВОЛЕЦ А.И. БАРАННИКОВ

В ЕГО

ПИСЬМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТКАТОРЖАН
1935

Об 380
Б-24
Т 9 3/144

НАРОДОВОЛЕЦ
А. И. БАРАННИКОВ
В ЕГО ПИСЬМАХ

СОБРАНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К ПЕЧАТИ
В. Н. ФИГНЕР

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ
1935

Обложка худ. Н. Нолянского

*

Ответственный редактор И. А. Теодорович
Технич. редактор М. Масляненко

*

Сдано в набор 15/IV-1934 г.
Подписано к печати 15/IX 1934 г.

*

Формат бумаги 82 × 110, 1/32 доля.
В 1 печ. листе 36.080 знаков. 10 печ. л.

*

Зак. тип. № 139 Зак. изд-ва № 175.

*

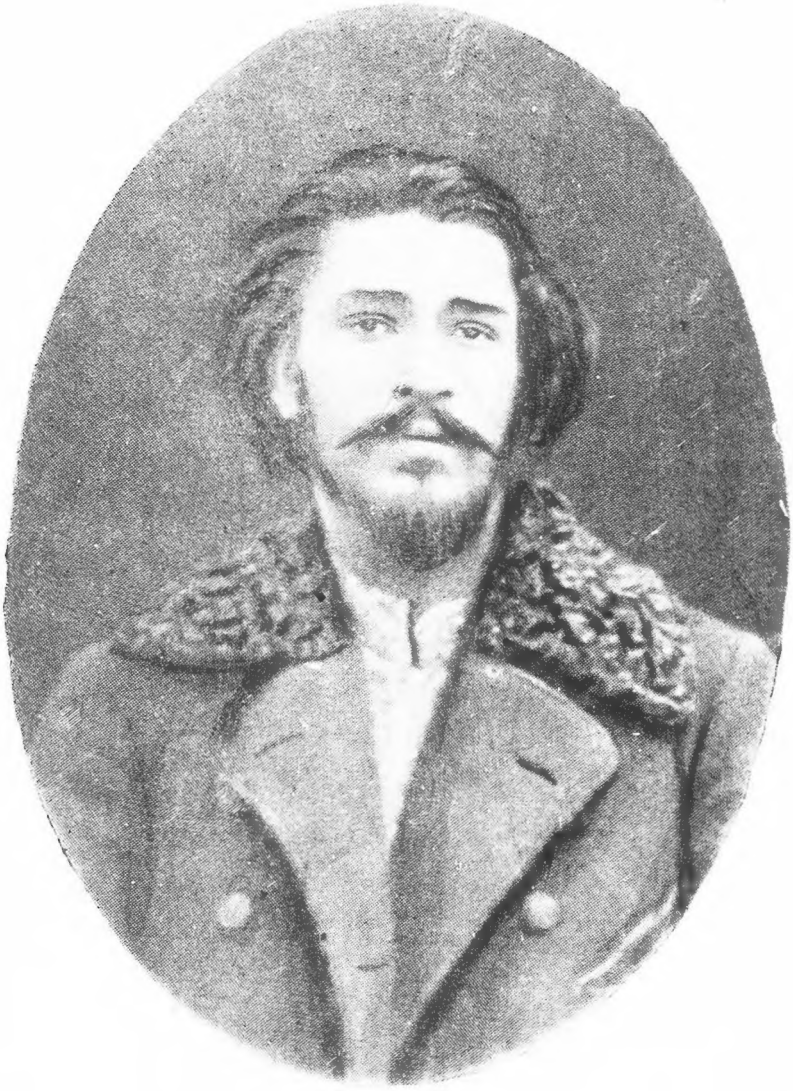
Тираж 5000 экз.
Уполномоченный Главлита № В—89146

*

Отпечатано в 11-й типографии Мособлполиграфа
2-я Рыбинская, 3.

Госуд. публичная историческая библиотека РСФСР
7206-1936

БИБЛИОТЕКА
Государ... ист. муз...
№ 7206
1936



А. И. Баранников

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ В. Н. ФИГНЕР

АЛЕКСАНДР БАРАННИКОВ — НАРОДОВОЛЕЦ.

В 1925 году вышла книга «Александр Михайлов — народоволец».

В ней А. Корба и я собрали весь печатный и рукописный материал о Михайлове, скопившийся к этому времени: воспоминания, статьи в журналах, биографические заметки, документы из историко-революционного архива (показания, объяснения на суде) и, наконец, письма из тюрьмы к родным и товарищам.

В книге, выпускаемой теперь, речь идет о другом члене Исполнительного комитета партии «Народная Воля» — друге и товарище Александра Михайлова — Александре Баранникове.

К сожалению, материалов о Баранникове очень мало, хотя в революционном движении он не прошел бесследно: во всех описаниях борьбы с самодержавием мелькает его имя. Но оно упоминается лишь в связи с фактами его политической деятельности — проявлениями его личности во вне, а в воспоминаиях товарищей (А. Корба, П. Ивановская) он обрисован тоже недостаточно.

Среди документов, имеющихся у меня, есть, однако, еще пачка его тюремных писем к родным, которые я и думаю поместить здесь.

Когда, несколько лет назад, я была в Крыму, в Гаспре, одна из отдыхающих сказала мне: «Моя дочь, слышавшая ваше чтение из «Запечатленного труда», узнав, что я в одном доме отдыха с вами, просила написать ей о вас — *«какая вы в жизни»*.

Но если люди интересуются вопросами, каков тот или другой деятель *в жизни,* то не представляет ли — хотя в меньшей степени — интереса вопрос, каков он в своей переписке? В особенности, когда данный деятель ушел из жизни и, кроме писем, никаких других документов личного характера не оставил.

Эти письма обнимают непродолжительный период — от ареста 25 января 1881 г. до марта 1882 г., когда, после приговора «по процессу 20-ти», Баранников был переведен в Алексеевский равелин, из которого уже не вышел.

При скудости других источников его письма к родным, при всей односторонности, присущей тюремной переписке, все же приоткрывают его внутренний мир, его отношения к самому себе, к своей деятельности, *к жизни и смерти.*

С этой точки зрения, я думаю, и надо судить о них.

Говоря о Баранникове, нельзя не говорить о Михайлове и не сопоставить их, потому что Михайлов имел исключительное значение в жизни Баранникова: его, как революционера, можно сказать, создал Михайлов и Михайлов же ввел его в революционное движение.

В детстве и в юности они были связаны дружбой, и с тех пор жизнь того и другого тесно переплеталась. В революционной деятельности они стояли рядом: оба сначала были членами тайного общества «Земля и Воля», а потом членами партии «Народная Воля» и входили в Исполнительный комитет ее. Арестованные, они судились по одному и тому же процессу и, заключенные в Алексеевский равелин, оба умерли в нем, связанные и в жизни и в смерти.

Равно твердые и мужественные, в равной степени преданные революционному делу до конца, они были по характеру и темпераменту, способностям и роду деятельности различны и представляли своеобразные, отличные друг от друга типы революционеров своего времени.

Но для того, кто изучает *внутреннюю* сторону социально-революционного движения и *людей,* участвова-

вших в нем, самая несхожесть их, быть может, представляет интерес.

Александр Михайлов *по натуре* и по роли в революционном движении был организатор-строитель. Сторонник централизации, он являлся последовательным и упорным проводником идеи объединения и дисциплины в партии и ее группах[1]. Сам — человек долга, цельный и дисциплинированный, доводивший до конца всякое дело, за которое брался, он требовал того же и от других, не допуская шатаний и отступления. Легендарный блюститель общей безопасности товарищей и соблюдения правил конспирации, так необходимой в жизни и в нелегальной деятельности, в случае прегрешений он выражал осуждение со строгостью и прямотой истинного революционера. Воспоминания всех, кто его знал, сходятся в мнении, что революционная страсть была его единственной страстью; других он не знал, и радостей вне революции не искал.

Это был человек с большими внутренними ресурсами, которые, вероятно, помогли бы ему выдержать долгое тюремное заключение, не сломи его физически материальные условия равелина.

Другим был Александр Баранников. Он не носил черт аскетического образа революционера. Им владел сильный инстинкт жизни, которую он понимал лишь в *полноте ее.* В ней он хотел *все* испытать, *все* изведать; взять *все,* что она может дать и что он от нее может взять. В письмах он прямо и говорит, что взял *все:* испытал борьбу, успех и неудачи, большие радости и горести, великие напряжения воли и счастье преодоления препятствий; нашел удовлетворение всех стремлений и желаний... В итоге, зная, что ожидает его впереди, он называет свою жизнь *счастливой*[2].

«Во мне,— говорил он,— есть способность безошибочно определять важность, серьезность, прелесть пе-

---

[1] Очень показателен в этом отношении материал, собранный в книге «Архив «Земли и Воли» и «Народной Воли». Изд. политкаторжан, Москва 1932.

[2] Курсив как здесь, так и везде дальше мой.— *В. Ф.*

реживаемой минуты. Когда я чувствовал, что счастливая минута приближается, я всегда мысленно произносил: «Это жизнь, пользуйся ею; извлекай из нее все, что в ней есть хорошего; не зевай, а то пройдет она и уже больше не вернется. Я в это время напрягал все свои силы, храбро шел на приступ и с боя брал то, что мне было нужно. Не даром, конечно, все это давалось, много крови приходилось портить, но тем больше счастья было, когда цель достигалась.— В жизни своей я был искренен, любил все прекрасное; никогда с умыслом ни от чего хорошего не отворачивался, и не жалею об этом. Все стороны жизни мне теперь известны; все явления поняты; ничего таинственного в ней не осталось. Мне могут сказать, что это отвлекало меня от главного, от моей настоящей цели. Нет, тысячу раз нет; нет,— при моей по крайней мере натуре,— я должен был все знать, со всего срывать завесу, все видеть так, каково оно в действительности. Теперь я могу, имею право говорить, что в жизни действительно прекрасного, прекрасного без белил и румян, без помощи куафера, и что только кажется прекрасным, а в действительности уродливо, безобразно».

Казалось бы, страстный темперамент, алкание *полноты* жизни, познание всех сторон и проявлений ее должны были соединяться с экспансивностью и, прорываясь, обнаруживать себя.

Однако эта черта психологии Баранникова не обнаруживалась и выявилась только в многочисленных высказываниях в его письмах. И, быть может, не для меня одной, но и для других товарищей по «Народной Воле» она явится новой, настолько внешность этого молчаливого товарища маскировала ее.

«Я не был речист»,— говорит он о себе... И в другом месте отмечает: «В своих поступках я был искренен, но это не значит, что я был откровенен в разговорах». «Очень, очень редко я открывал кому-нибудь свою душу; боялся я этих излияний».

«*Я не был речист!*».. Мало того, что «не речист», он был крайне молчалив, редко и кратко выражал свое мнение; никогда я не слыхала от него ни одного

рассказа о ком или о чем-нибудь — не только о сильных переживаниях, но и о внешних подробностях и случаях жизни. Эта всегдашняя сдержанность и молчаливость при его наружности глубокого брюнета не русского типа придавали его матовому смуглому лицу характер неподвижной мрачности.

Фомин в записке начальству, открывая после продолжительного отказа назвать себя, свою настоящую фамилию — Медведев, упоминает, что в Киеве (в бытность там Осинского, ко времени покушения на прокурора Котляревского и убийства жандармского офицера Гейкинга) появился человек с физиономией «дикой», и повторяет этот эпитет не раз, повидимому, находя его очень подходящим.

Но «дикого» в наружности Баранникова, о котором, не называя имени, он ведет речь, не было решительно ничего.

Правда, когда однажды на заседании Исполнительного комитета случилось назначить нашими представителями Желябова и Баранникова для приема нового члена, при чем, по уставу, ему предварительно разъяснялись суровые требования: отдавать все силы революционному делу, жертвовать всеми связями и самой жизнью по требованию организации и нерушимо хранить тайну ее состава и деятельности,— М. Н. Ошанина, при общем смехе, сказала: «Желябова — чтоб говорить, а Баранникова — чтоб устрашать».

Но это была шутка, удачная по противоположности общего облика этих двух лиц, а вовсе не потому, чтоб вид Баранникова имел в себе что-нибудь «дикое», устрашающее.

Баранников был человек дела, а не слова — не пропаганды, а действия. Для него, одаренного пылким темпераментом, с его жаждой жизни, *активной* борьбы и преодоления препятствий, пассивное состояние было нестерпимо. Говоря в письмах о жизни, которую ведут родственники, и называя ее неприглядной, бледной, скучной, Баранников с внутренним содроганием

восклицает: «Одна мысль о том, что я мог бы так же провести свою жизнь, как и вы ее проводите, приводит меня в ужас. Нет, счастье не в покое, не в тишине, а в борьбе; оно не приходит само, его надо поймать, и блажен тот, кто его поймал!!!...»

После ареста, попав в тюремное заключение, он переносит его в мучительном непрерывном раздражении.

Большинство заключенных, после первого периода возбуждения, дают волю заглушенной обстоятельствами потребности в умственном труде и погружаются в чтение: книги, расширяя их горизонт, дают забвение наступившей тесноты жизни и то удовлетворение, которое человек получает при работе мысли.

Баранников, после краткого периода умственного пробуждения в возрасте гимназических лет, как-будто замер в своих умственных исканиях. Во всей его переписке лишь в одном письме он упоминает, что прочел Шлоссера, Дрэпера, Гервинуса, и совсем не видно, чтоб книга занимала большое место в его тюремном одиночестве[1].

Если бездеятельность предварительного заключения выводила его из себя и он с величайшим нетерпением ждал суда и приговора, то перспектива каторги без срока казалась ему несчастьем, которое нельзя себе и представить. Без цели, без преодолений жизнь для него была бы не в жизнь. Но он был уверен, что его ждет смертная казнь, и ждал, можно сказать, предвкушал смерть на эшафоте не с горечью, а с удовлетворением, как достойное увенчанье жизни. Смерть вместо увядания в старости лет являлась для него желанной и прекрасной. В этом отношении очень характерно письмо, в котором он говорит, что почти каждый человек в начале жизни идет по восходящей линии; доходит до высшей точки развития и расцвета сил и, остановившись на момент, медленно ниспускается или стремительно срывается со своих высот. Он, с своей стороны, предпочитает, чтоб его жизнь обо-

[1] В другом письме он останавливается на книге Гартмана.

рвалась в зените, при полном обладании всеми силами. Упадка, увядания он не хочет.

Приговор в 1882 году не к смертной казни, а к каторге без срока был для него ударом: к смерти он был готов; он ждал ее; привык к мысли о ней; со странной жестокостью он все время убивал в себе инстинкт жизни,— быть может, потому и убивал, что этот инстинкт был силен в нем. В письмах к родным он постоянно говорил об ожидавшем его конце и, казалось, совсем сроднился с представлением о нем... И вдруг — вместо быстрого, легкого и «довольно приятного», по его словам, конца — каторга без срока. Заточение на всю жизнь.

Он был в отчаянии... Но недолго после приговора продолжалось для него постылое существование...

1

Семья Баранниковых проживала в уездном городе Путивле. Его отец владел там домом и имел 100 десятин земли городскими участками. Он был военным, служил на Кавказе в Эриванском лейб-гренадерском полку близ Тифлиса; там он и женился на грузинке. Простудившись в одном из походов, он заболел и, выйдя в отставку, вернулся на родину в Курскую губернию, где и умер, когда Александру Ивановичу было 5 лет. Василий, брат Александра, бывший на 7 лет старше, после колебаний в выборе поприща поступил тоже на военную службу и в 1881 г., когда Александр был арестован, служил в Болгарии начальником артиллерийского склада в Рущуке. Следующая по возрасту сестра — Надежда — была в это время уже замужем (в Путивле) за нотариусом Якубовичем, а младшая — Мария,— закончив образование в Смольном институте, жила при матери.

Семья Баранниковых была типично провинциальная, с религиозными предрассудками, доходившими до того, что женитьба Василия Ивановича на *двоюродной сестре* породила семейные неприятности, так как считалась грехом, заслуживающим чуть не проклятия. В общественном отношении это были люди, далекие не

только от понимания стремлений тогдашнего молодого поколения, но и от либеральных идей своего времени. Из такой семьи уж никак не мог бы выйти революционер.

Но определяющее значение в жизни Баранникова имело знакомство с А. Михайловым, влияние его личности и его идей. Семья Михайлова жила в Путивле, как и Баранниковы. Его отец, землемер по профессии, владел по-соседству с ними домом, а в уезде имел хутор. Семьи были знакомы, и мальчики дружили между собой. В начале они и учились вместе у домашнего учителя, жившего у Баранниковых. Гимназия разлучила их: Михайлов уехал в Новгород-Северский и поступил в классическую гимназию, а Баранников был принят на казенный счет пансионером в военную гимназию в Орле. Но летом, на каникулы, оба приезжали к родителям, часто видались, вели, по словам сестры Баранникова, долгие разговоры и, уединяясь от остальных членов семьи, «секретничали».

Михайлов дома привык к мягкому, ласковому обращению отца и матери, людей патриархально простых, добрых и прямодушных. Попав в Новгород-Северский, в чужом городе, в классической гимназии он оказался в учебном заведении, пропитанном «немецким духом», с неспособными учителями и грубым начальством. В атмосфере окриков, выговоров и наказаний он чувствовал себя одиноким и несчастным, находясь в постоянном напряжении в ожидании неприятностей. Чтоб уйти от гнетущей действительности, он погрузился в книги, которые вскоре сделали его по развитию выше многих одноклассников. Но в гимназии были и такие юноши, которых уже коснулся дух времени. Самостоятельно или под их влиянием Михайлов стал устраивать кружки самообразования, пытался издавать журнал, привлекал товарищей к чтению и коллективной выписке книг для их собственной библиотеки.

Понятно, все духовные приобретения он привозил в Путивль и там приобщал к ним Баранникова.

Какова была военная гимназия в Орле во время пребывания в ней Баранникова, сведений нет. Возмож-

но, что она не была так безобразна, как классическая гимназия в Новгород-Северском. Во всяком случае в письмах Баранников не жалуется на нее. Сам он, повидимому, не отличался ни особенными успехами, ни шаловливостью. Мельком он даже роняет, что «был пай-мальчиком». Не встреть он Михайлова, быть может, он не вырос бы в того Баранникова, которого мы знаем. Михайлов пробудил его, приезжая в Путивль. Не даром же они уединялись от других членов семьи и «секретничали».

Говоря о периоде, когда ему было 13 лет, в документе 1875 года Баранников ни о ком другом, как о Михайлове, говорит: «Я встретился с человеком, который первый заговорил со мной не так, как другие; от которого я впервые услышал правду; он указал мне путь, приведший к сознательному стремлению, к определенным целям. Путь этот был — разумное чтение книг». И он «набросился» на книги. Его развитие пошло лихорадочным темпом. «Как степной ураган, налетел на меня и помчал в неведомую даль бурный, убивающий одних и оживляющий других поток новых мыслей, не приходивших до того ни разу в голову. Под их напором душа разрывалась на части, сердце беспокойно работало; я принимался горячо молиться, отгоняя от себя все сомнения; с лихорадочным нетерпением проглатывал все попадавшиеся на глаза книги, ища в них ответа на эти страшные вопросы. Но, понятно, такого ответа, какой мне был нужен, ответа короткого, ясного и определенного, я в это время не мог найти».

1875 год был годом окончания Баранниковым военной гимназии. Михайлов в то время был уже в Петербурге и свободно выбирал для себя высшее учебное заведение. Он шел самостоятельно — родители не стесняли его в выборе.

Не то произошло с Баранниковым. Тогдашняя литература уже воспитала в нем народолюбческие стремления: он хотел сделаться врачом и рассчитывал поступить в Медико-хирургическую академию. Брат и в особенности опекун — некто Тюряков (последний по расчетливости дать подопечному образование бес-

платно) воспротивился этому. Пропитанные преувеличенным почтением к военной профессии, семейные хотели, чтобы, подобно отцу и брату Василию, Александр стал тоже военным. На этой почве разыгрался конфликт, дорого стоивший нашему Баранникову. Мать *желала,* а брат Василий и опекун *требовали,* чтоб он исполнил их волю.

«Ты говоришь, что если я не пойду в военную службу, то прекратишь со мной всякие сношения,— пишет он по этому поводу брату.— Помни же, что причиной этому не я, а ты; ты первый этого пожелал. Желал бы я знать, думают ли последовать твоему примеру и прочие члены моего семейства (мать, Надя, Маша): если да, то, следовательно, вам и не нужно знать моего летнего местожительства, сиречь адреса. Прощайте и, как вы этого пожелали, *навсегда. Знайте, что я скорей пущу себе пулю в лоб, чем обращусь к вам за помощью при таких отношениях.*

Тяжело, но необходимо».

...Однако следовать своим стремлениям без материальной помощи, хотя бы на первых порах, было невозможно. Раздраженный и гневный, он подчинился и поступил в 1-е военное (Павловское) училище в Петербурге.

«Я исполнил вашу общую просьбу, т. е. поступил в училище,— извещает он родных.— По совету воспитателя[1] я поехал в Петербург, конечно, на свой счет *(как тут пригодились мне деньги Михайлова),* и остановился в гостинице, а воспитатель между прочим хлопотал уже о принятии меня в училище. На другой день я был принят. Да, сколько душевной пытки, нравственной борьбы и присутствия духа истратил [я] в этом деле; но все это меня не смущало, но, когда пришлось итти просить, *чтоб меня ради Христа приняли в училище, о, как мне было это тяжело, как накипала у меня в груди злоба и ненависть*[2]. И что за цель была у вас настаивать на поступлении моем в училище? Не-

---

[1] Военной гимназии.—*В. Ф.*

[2] Напоминаю, что курсив везде мой.—*В. Ф.*

ужели вы думаете, что из меня выйдет порядочный офицер? Нет, нет, нет».

Так на первых шагах жизни Баранникову пришлось испытать унижение, пережить моральный разрыв с родными и узнать внутренний разлад между собственными склонностями и действительностью. При таких условиях трудно было ждать, чтобы желания семьи увенчались успехом.

2

Между тем духовный рост Баранникова, ускоренный свободным выбором книг, шел и в училище в том же направлении.

«Чтение и товарищеские разговоры еще в гимназии натолкнули меня,— говорит он в показаниях,— на массу вопросов, разрешение которых с каждым днем становилось для меня все более и более настоятельным. Получив возможность читать все, что вздумается, главное внимание свое я обратил на те книги, на тех мыслителей, которые так или иначе отвечали на эти вопросы. Рядом с этим я получил возможность получать и книги запрещенные: газету и журнал «Вперед», сочинения Лаврова, Бакунина и других. *Явилось страстное стремление познакомиться с жизнью и действительными страданиями людей, испробовать силы в борьбе за народное благо, за народное освобождение*».

Так кончился 18-й год его жизни и в начале 19-го «совершилось, наконец, то, что давно уже подготовлялось, закончился период юношеских мечтаний», и он «вступил в жизнь, в настоящую, в действительную жизнь».

Как же произошло это вступление? Довольно оригинально: чтобы вырваться из училища, он симулировал самоубийство: написал и отослал своему ротному командиру письмо, в котором, указывая на невыносимый душевный разлад от несоответствующего его склонностям вынужденного выбора карьеры, объявлял о своем решении покончить с собой в волнах Невы... Затем из училища ушел и, симулируя самоубийство, оставил на берегу Невы казенную одежду...

Для начальства и родных с этого часа он умер.

... На берегу его ждали товарищи-революционеры; ему передали необходимое платье, деньги, паспорт, и в тот же вечер он выехал из Петербурга.

Он нырнул, но не в волны реки, а в «народ».

Михайлов направил его в Ростов-на-Дону, где в то время собралась компания социалистов-пропагандистов, чтобы отправиться на юг на сезонные полевые работы. Там были: М. Попов [1], Боголюбов (Емельянов), Хотинский [2] и др.

Из этого примера можно видеть, что весной 1876 г., когда Баранников впервые вошел в революционную среду, движение, характерное для 73—75 гг., еще продолжалось в том же направлении. «Хождение в народ» не было отвергнуто. Но темп движения изменился. Прежнего подъема уже не было; всероссийское стремление учащейся молодежи к «опрощению», к «слиянию» с народом приостановилось, но психология истекших лет, настроение в общем сохранилось — отдельные лица и группы повторяли опыт. Между тем жизнь в условиях самодержавия дала тяжелый урок: жертв полицейских розысков по пропаганде было множество; сотни арестованных наполняли тюрьмы и не месяцами — годами ждали решения своей участи; десятки сходили с ума, кончали самоубийством и умирали от заболеваний в тяжелом заключении... А пропаганда, обнаруженная жандармами в 35 губерниях, не дала результатов, которых ждали революционеры: в народе отклика они не встретили — крестьянские массы остались неподвижны.

Объективно — движение потерпело неудачу, но среди уцелевших еще не слышалось голосов: «Остановимся! Подумаем и подведем итоги, обсудим будущее».

Итак, войдя в связь с ростовскими товарищами, Баранников начал свое «хождение» в Земле войска донского в поисках работы. В письмах он в восторженных выражениях говорил о своем настроении во время

---

[1] Будущий шлиссельбуржец.

[2] Боголюбов и Хотинский — будущие землевольцы со времени основания общества «Земля и Воля» осенью 1876 года.

этих странствий. Должно быть, 19-летний юноша тогда впервые почувствовал себя вполне свободным; все путы, связывавшие его, были сброшены; принуждение со стороны родственников и опекуна, интернат военной гимназии, постылое юнкерское училище, карьера, навязанная чужой волей,— все бесповоротно отошло в прошлое вместе со всеми колебаниями и душевным раздвоением, и это окрыляло его. Самое имя — и то было сброшено: он — новый человек, и новая, неведомая жизнь стоит перед ним! Весь юг наводнен пришлым рабочим людом, которого из центральных губерний сюда пригнала нужда на сезонные летние работы. Поле для наблюдения и сближения с народом необозримо; встреч — сколько угодно. Работая в качестве косаря, батрака, грузчика, рыболова, он побывал в Ростовском, Таганрогском, Миусском, Мариупольском, Бердянском уездах, испытывая на себе все обычные невзгоды рабочей жизни: ночевал под открытым небом, у телеграфных столбов, в старых амбарах и на базарах. «Ночью беспощадно кусали комары, днем жгло солнце, непривычная обувь натирала ноги», плечи отягощала котомка... Однако — «Эх, время, время счастливое! — восклицает он.— Как хорошо жилось тогда, как легко дышалось, каким восторгом наполнялась по временам душа!». И, забывая, *к кому* в письме он обращается,— к людям, для которых спокойствие и благополучие составляют в жизни все,— он продолжает: «Эх, господа, если бы кто-нибудь из вас мог заглянуть тогда в мою душу, *с какой радостью, думаю я, променял бы он свое прочное, обеспеченное положение на [мое] полное случайностей, неудобств...*»

Странное впечатление производит теперь пафос, с которым он восхваляет перед братом свое бродяжничество. В воспоминаниях некоторых лиц, живших в деревне или «ходивших» в народ, встречаются страницы, полные чувства удовлетворения и одушевления; оно вызывалось сочувствием, которое встретила их пропаганда или их личность в народе. Но Баранников *не* пропагандировал. И его чувства при одном воспоминании о той полосе жизни, мне кажется, можно понять только в связи с той страницей, где он говорит о

полноте жизни, о жажде познать и изведать все проявления ее. Повидимому, в то время, в свои 19 лет, он имел эту полноту: богатство и разнообразие, хотя порой и тягостных, но острых переживаний, неожиданных, непривычных и привлекательных в необычности своей. Общение с природой, которого лишен городской житель, должно было также давать ему наслаждение.

Путешествуя по деревням и селам, Баранников, разумеется, был одет крестьянином. Тогда эта крайность еще не была откинута: положение рабочего считалось *необходимым* для сближения с народом.

«Самобытная» форма деятельности в виде рабочего или крестьянина требовала «опрощения», начиная с одежды и до отказа от привычек, потребностей культурного человека, отказа от всякого рода интеллигентного труда. Это была ломка, невозможная для человека, рожденного и воспитанного в обстановке культурного круга, и вела к маскараду, плохо скрывавшему барское происхождение, и к курьезам, над которыми потом смеялись.

В Ярославле я и Каминская тщетно искали на базаре демократические сапожки на маленькую ножку Бети. Морозов, отправляясь в деревню, ложился на солнце, чтобы загар скрыл белизну лица 19-летнего сына предводителя дворянства. При «хождении в народ», когда его пригласили в избу пообедать, он за столом удивил хозяев: не зная крестьянских обычаев и не обратив внимания на то, что крестьяне, хлебая из общей чаши, опускают ложки по очереди, он хлебал да хлебал, невзирая ни на какие очереди... и был сконфужен. А Лукашевич (Александр), отощав на пустых деревенских щах, серьезно обсуждал с товарищем, прилично ли купить селедку в сельской лавочке, «когда они пошли в народ?» Они съели ее прикровенно, за околицей.

Не обошлось без смешных положений и с Баранниковым. Однажды он нанялся было в работники к крестьянину. Хозяин велел ему запрячь лошадь, но оказалось, что он и хомута на лошадь надеть не умеет... В другой раз, поймав на себе обычного в деревнях па-

разита, он с удивлением спрашивал товарищей, «что это за белая блоха, которая не летает?»

Так, в своем поведении и ежедневном обиходе, новичок в несвойственной ему среде, он бросался в глаза своей несуразностью, обличавшей, что он не *свой брат*.

«Ко мне относились подозрительно, с недоверием,— свидетельствует он сам.— Неудивительно, что «разговоров по душе» было мало»...

Поняв, что в трудовой среде он чужак, Баранников увидел, что мало «опроститься» в отношении одежды — надо *научиться* работать, сделаться работником, и тогда станешь в простые искренние отношения с окружающим трудящимся людом. Для этого он отправился в Астрахань к товарищам-социалистам и поступил в знакомую им кузницу, где начал работать молотобойцем, что соответствовало его недюжинной физической силе.

Работая в кузнице, Баранников учился мастерству, присматривался к рабочим и их отношению к хозяину, но опять-таки, по собственному признанию, «никакой нелегальной деятельностью не занимался».

Так прошел год со времени его исчезновения из Павловского училища; в апреле 1877 года он вернулся в Петербург. Там за время его отсутствия произошли многие важные перемены.

3

Я уже говорила, что в первой половине 1876 года прежние революционные группы находились в состоянии распада, движение приостановилось в своем развитии, революционеры стояли на прежней позиции. Однако в умах отдельных лиц происходила работа, рождались сомнения, новые чувства и настроения. У более опытных, оторванных преследованиями правительства от практической работы в деревне, в часы раздумья являлось критическое отношение к пройденному пути, к неписанной программе, которой следовали в 73—75 гг., и к прежней форме деятельности в народе. Являлось сознание, что эта программа и форма требуют пересмотра на основе пережитого опыта с его

доверчивой верой, что крестьянин — социалист и революционер по самому положению своему, как учил Бакунин, и что достаточно нескольких годов (лет 5!), чтоб пропаганда завоевала в народе большинство, которое и совершит социальную революцию, как говорил Лавров, быть может, даже без сопротивления меньшинства, которое подчинится в виду безнадежности борьбы...

Влияние социалистических идей и социалистического рабочего движения Западной Европы ослепляло поколение первой половины 70-х годов; оно мешало осознанию *русской* действительности, мешало взвесить различия между культурными конституционными странами Запада с их свободой слова, собраний и союзов и положением нашей родины с ее бесправием, административным произволом и всевластным самодержавием.

Одушевленная последним словом социалистической мысли и движимая горячим желанием притти на помощь действительному освобождению своего народа, революционная молодежь отправилась в поход, не представляя себе трудностей и препятствий на пути и не имея элементарных возможностей для распространения идей в населении, не тронутом культурой и даже простой грамотой. И *рассыпалась* по территории России с огромной задачей — приобщить народ *к социалистическим идеям* и организовать его силы для революции.

Те участники движения, которые жили в деревне более продолжительное время и имели возможность внимательнее всмотреться в жизнь и настроения народной массы, отчетливо видели, что у нее есть свои собственные идеалы и чаяния, и не могли не заметить равнодушия к социалистическим идеям при попытках найти им поддержку. Они видели, что крайности, характерные для движения, следовало откинуть, требования от личности уменьшить, а программу, стремящуюся к идеалу и построенную на основе западно-европейской социалистической мысли, свести с теоретических высот на реальную почву русской действительности, считаясь с укладом жизни и культурным уровнем нашего, тогда чисто земледельческого народа, и

в деятельности своей исходить из его нужд, требований и стремлений, как они выработаны им в ходе истории.

Все эти мысли и соображения, бродившие в умах отдельных лиц, вдумчиво относившихся к итогам своей деятельности, нашли свое выражение *осенью* 1876 года в коллективной работе нескольких более опытных товарищей, вынужденных временно жить в Петербурге. Они всесторонне рассмотрели пройденный путь, взвесили недочеты и ошибки и на основании критики и анализа выработали *тезисы,* которые должны были лечь в основу последующей деятельности. Выдающуюся роль при этом сыграли бывшие чайковцы: с одной стороны — Юрий Богданович и Иванчин-Писарев, деятели в деревне, а с другой — Марк Натансон, его жена Ольга и Драго, работавшие в городах. Марку Натансону, талантливому организатору, имевшему в Петербурге и в провинции обширные революционные связи, выпала счастливая доля на основе выработанных принципов собрать вокруг себя как уцелевших от разгрома прежних пропагандистов, так и те свежие силы, которые сложились в средних и высших учебных заведениях в течение истекших лет.

Главным принципом новой программы оставалось попрежнему утверждение, что только *переворот экономический* может вполне обеспечить интересы трудящихся, только он может дать им *действительную* свободу.

Признавая, что у народа есть собственные идеалы и требования, программа указывала, что надо вести *не пропаганду социалистических идей,* пока далеких для народа, *но агитацию во имя тех требований,* которые *уже имеются в народе и им сознаны.* Как *сознанные,* эти стремления, согласные в общем с духом социалистического учения, не требуют пропаганды, но остаются пассивными, не переходят в действие. Задача революционера — возбуждать *активность* народа, пробуждать в нем революционное чувство, сознание необходимости протеста и борьбы против всякого рода насилия и эксплуатации со стороны помещика, кулака и прочих вымогателей, против полиции и всякого рода

администраторов, помогать населению в защите его прав и, пользуясь местным недовольством, вести к выявлению его в протесте, лично участвовать в нем, расширяя его по возможности до взрыва, чтобы при благоприятных условиях местное движение довести до общего.

Ставя целью революционной деятельности осуществление чаяний и стремлений народа, новообразовавшееся «тайное общество» поставило на своем знамени заветные слова: «Земля и Воля», как выражение народных чаяний: «Земля» — как достояние трудящихся на ней, и «Воля» — как право народа устраивать свою жизнь самостоятельно без всякого вмешательства со стороны власти.

Программа, принятая обществом «Земля и Воля», требовала вместо «хождения в народ» оседлости, вместо положения рабочего — положения учителя, волостного и сельского писаря, фельдшера и т. п.; вместо действия врассыпную — концентрации в определенном районе.

Учитывая настроение революционной среды, чувства раздражения и гнева, накопившиеся в ней за три года преследований, не встречавших отпора, петербургская революционная группа ввела в программу совершенно новое начало: она рекомендовала отпор насилию и произвольным арестам, уничтожение шпионов и наиболее рьяных слуг правительства. А для успеха народного восстания, если оно произойдет, признавала необходимость — для «дезорганизации правительства — нанесение «удара в центре», и тогда же заговорила о динамите, о возможности, применяя его, уничтожить всю царскую фамилию.

Этим нововведением уже в 1876 году был заложен первый камень будущей политической борьбы со всеми ее перипетиями и последствиями [1].

---

[1] Выработанная программа стала известной под названием «народнической», ее деятели называли себя «народниками», а со времени выхода в 1878 г. печатного органа «Земля и Воля» ходовым названием стало «землевольцы».

4

Согласно с важностью, которую программа придавала агитации, первым выступлением народников был дерзкий вызов правительству — устройство демонстрации 6 декабря 1876 года в центре столицы на площади у Казанского собора. Здесь собрались как члены Общества, так и не члены — рабочие, учащиеся и интеллигенты. Была произнесена небольшая революционная речь (Плехановым), и молодой рабочий-полукрестьянин (Я. Потапов) развернул красное знамя с заветными словами «Земля и Воля». Произошла схватка с полицией и сбежавшимися дворниками. Избиение, аресты... А в январе 1877 г. скорый и суровый суд над захваченными демонстрантами (21 чел.).

Исторического значения этой демонстрации теперь никто не отрицает: она знаменовала наступление нового периода революционного движения.

«Казанская демонстрация» не помешала осуществлению главной задачи Общества — устройству поселений в деревне. С одной стороны, хорошо подобранная группа человек в 15 отправилась в Саратов, чтобы устроиться в различных селениях уездов, а в городе вести сношения с рабочими. С другой стороны, должно было устроиться прочное поселение в Нижегородской губернии. Брат эмигранта Линева, работавшего в типографии «Вперед» Лаврова, имея паспорт на имя американского гражданина Филипса, арендовал землю в деревне Храпунове Горбатовского уезда. В качестве рабочих у него поселились: А. Квятковский, Кржеминский и Вышинская; к ним в качестве кузнеца присоединился и приехавший из Астрахани Баранников, принятый по рекомендации Михайлова в члены Общества. Однако существование этого поселения оказалось непродолжительным. Окружающее население недоумевало, видя в своем медвежьем углу появление незнакомых молодых людей. В приезжих стали подозревать фальшивомонетчиков, полиция тоже насторожилась. Вскоре она нагрянула и ликвидировала все предприятие. Баранникову удалось во-время ускользнуть; он скрылся и в августе отправился в Черногорию, которая бо-

ролась в то время с Турцией за свое освобождение. Его целью было «ознакомиться со *способами борьбы партизанских отрядов с регулярными войсками, чтоб применить потом свои знания в России*». Это вполне гармонировало с тогдашними надеждами на восстание крестьян и соответствовало жажде Баранникова все изведать, все узнать. Он сражался в отряде Пеко Павловича, о чем и упоминает в одном из писем к брату. Но только упоминает, и остается неизвестным, что извлек он из этого опыта в условиях страны, совершенно непохожей на нашу. Ни от него самого, ни от кого из товарищей я не слыхала никаких рассказов на эту тему. Во всяком случае, как человек, уже испытавший трудности жизни и обладавший недюжинной физической силой, он не мог быть в тягость туземным товарищам-партизанам, как это было в Герцеговине, например, с Зелинским, о котором в мою бытность студенткой его русские товарищи по тому же «военному» делу рассказывали в Женеве, что герцеговинцам приходилось в горах тащить этого слабого юношу на спине.

Через 5—6 месяцев, в начале 1878 г., Баранников вернулся в Россию.

5

Таким образом, нижегородское поселение и Черногория заполнили для Баранникова весь 1877 г., а в революционном движении этот год был замечателен. Дело в том, что правительство, не предусмотрев последствий, сосредоточило в этом году в Петербурге разбор всех политических дел, следствие по которым происходило в течение последних 3—4 лет. Благодаря этому в течение всего 1877 года изо дня в день, из месяца в месяц в газетах печатались отчеты судебных разбирательств, и внимание широких кругов читающей публики останавливалось на том, что происходило в зале суда.

Что не попадало в прессу, разносилось многочисленными родственниками, товарищами, защитниками или печаталось в тайной типографии, которую завел тогда Аверкиев. И разносившиеся вести были волнующие:

подсудимые излагали в речах свои политические убеждения. Через голову судей они говорили всей стране: громили правительство, отрицали компетентность суда, входили в резкие пререкания с председателем, который компрометировал себя и суд бестактными выходками и нарушением устава судопроизводства. Таким образом, правительство вело настоящую пропаганду революционных идей, возмущало общество своей внутренней политикой, своими преследованиями и вызывало сочувствие к подсудимым.

В январе разбиралось дело о демонстрации на площади Казанского собора (21 чел.). В феврале начался «процесс 50-ти», в котором участвовало 16 женщин и между ними 11 бывших цюрихских студенток, поступивших на фабрики для пропаганды среди рабочих. По поводу этого процесса сами правительственные лица признали свой промах. Канцлер граф Горчаков, присутствовавший на одном из заседаний, сказал, что правительство сделало ошибку, поставив этот процесс,— так велика была симпатия всех к подсудимым женщинам. В мае шел процесс Заславского (21 чел.). Летом было шесть мелких процессов. На юге — процесс крестьян Чигиринского уезда с 336 подсудимыми. Наконец, в октябре в Петербурге начался грандиозный процесс 193-х, продолжавшийся три месяца и захвативший начало 1878 г. Этот процесс являлся непрерывной демонстрацией подсудимых против суда и всего государственного строя.

Высшей напряженности процесс достиг, когда Мышкин произнес речь, выражавшую убеждения товарищей, поручивших ему сказать ее. Речь, прерываемая окриками председателя, была так резка, что кончилась неслыханным скандалом: заседание было прервано, судьи поспешно удалились. Между подсудимыми и жандармами произошла схватка...

Новости, приносимые из суда, находили широкий отклик в столице: волновалась учащаяся молодежь; возмущались либеральные круги. Вокруг революционного дела возникли острые вопросы; создавалась атмосфера общественного сочувствия.

В революционной среде накоплялась активность: желание сопротивляться насилию и бороться. Баранников из Черногории попал в Петербург в горячее время. Надо ли говорить, что он оставил в стороне дальнейшие планы устраиваться в деревне и работать в кузнице для пропаганды словом, когда в городе кругом страсти были возбуждены и нарастала жажда действия, между тем как из деревни, из поселений, не было никаких оживляющих известий. 1877 год, как год политических процессов, сделал свое дело: он пробудил революционное чувство гнева и озлобления, которые должны были найти выход. Кончилась полоса пассивного «перенесения бедствий настоящего» — началось активное сопротивление гнету полицейского государственного строя. В этом отношении следующий 1878 г. заслуживает названия года революционных выступлений. После него эти выступления шли все в более определенных и ярких формах. Баранников встал на эту дорогу: она соответствовала его натуре гораздо больше, чем та розовая мечтательность периода хождения в народ, о которой с любовью он вспоминает в письмах. И с этой дороги он уже не сворачивал до конца.

1878 год открылся в январе выстрелом Веры Засулич в петербургского градоначальника Трепова. Это был ответ на то, что по его приказанию в доме предварительного заключения был подвергнут телесному наказанию политический каторжанин Боголюбов-Емельянов за то, что не снял шапки при встрече с ним. Этот выстрел не только открыл, но, можно сказать, определил характер всего года: в течение его произошло 18 революционных выступлений разного значения и разной формы: 4 уличных демонстрации, 7 вооруженных сопротивлений при аресте, 3 политических убийства, 1 покушение на убийство, 2 освобождения из тюрьмы, 1 вооруженное нападение на конвой, сопровождавший осужденного. В этом же году на севере сначала появился орган «Начало»; в ноябре стал выходить орган землевольцев — газета «Земля и Воля», а на юге была арестована тайная типография у Ко-

вальского. В том же году в Петербурге появились начатки *рабочего* движения: стачка на Новой бумагопрядильне, стачка на Патронном заводе. Осенью студенческие беспорядки охватили все высшие учебные заведения Петербурга; в декабре происходили студенческие беспорядки в Харьковском ветеринарном институте.

Среди этих выступлений самыми громкими и важными были: вооруженное нападение на конвой, который вез одного из осужденных по процессу 193-х, и убийство шефа жандармов Мезенцова.

Оба акта были организованы и исполнены членами Общества «Земля и Воля» и в обоих участником был Баранников.

Суд по делу 193-х ходатайствовал о смягчении приговора, но прежде, чем утверждение произошло, Вера Засулич сделала выстрел в градоначальника Трепова. Царь, пославший Трепову свое соболезнование, по настоянию шефа жандармов Мезенцова не утвердил ходатайства, и осужденных на каторгу должны были отправить в который-нибудь из двух централов Харьковской губернии. Молва о режиме в них была самая зловещая. Землевольцы решили освободить вооруженной силой Мышкина, как самого выдающегося из осужденных[1]. План заключался в нападении на конвой, который должен был везти Мышкина из Харькова в централ, в одном из ближайших уездов. Для этого из Петербурга в Харьков были посланы Фроленко, Баранников, Квятковский и Адриан Михайлов как исполнители, Перовская, Александр Михайлов, Морозов и Ошанина — как укрыватели. Отправка Мышкина ускользнула от петербургских наблюдений. Тогда в Харькове постановили отбить Ковалика. Но из двух дорог, ведущих в централы, нападающие стали не на ту, по которой жандармы повезли Ковалика. Следу-

---

[1] Мышкин, оратор процесса, имел легальную типографию в Москве и печатал в ней революционные книжки в период хождения в народ. При аресте типографии скрылся и сделал единственную реальную, но неудачную попытку освободить Чернышевского из Вилюйска.

ющим кандидатом на освобождение явился Войнаральский, и на этот раз были приняты меры сигнализации и постановили занять такой пункт, чтоб по сигналу верхового из двух дорог[1], которые шли из Харькова почти параллельно, успеть во-время свернуть на надлежащую. Так и было исполнено 1 июля, когда нападение состоялось. Вот донесение начальника Харьковского жандармского управления в Петербург в III отделение об этом событии[2]. Оно передает внешнюю сторону его. А организационные подробности можно найти в книге воспоминаний Фроленко, непосредственного участника в деле, и в книге Морозова «Повести моей жизни», рассказывающего со слов Баранникова.

НАЧАЛЬНИК ХАРЬКОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Июля 4 дня 1878 г.
№ 183.
Харьков.

Секретно.

Господину управляющему III отделением собственной его императорского величества канцелярии.

Доставленные 30 июня, в 3 часа утра, четыре человека каторжных[3] были немедленно препровождены в Харьковскую тюрьму, а через час, т. е. в 4 часа утра, каждый в сопровождении двух унтер-офицеров отправлены были в Новоборисоглебскую центральную тюрьму («Печенеги».— *В. Ф.)* следующим порядком: первый — Муравский, через час — Ковалик, вслед за ним — Рогачев, с тем расчетом, чтобы конвойные ехали не в далеком расстоянии и могли бы, в случае выстрела, дать друг другу помощь. На другой же день, в 4 часа утра, препровождался, при двух надежных унтер-офицерах, каторжный Войнаральский. Проехавши за город верст 6—7, унтер-офицеры заметили доволь-

---

[1] Одна — в Змиев, другая — в Борисоглебск.
[2] Дело № 259, ч. 1, 1878 г., III отд., 3 эксп., лл. 8—11.
[3] Муравский, Ковалик, Сажин и Рогачев.

но тихо ехавшую впереди их бричку, запряженную парою лошадей, в которой сидели два человека и третий кучер [1]. Когда унтер-офицеры начали подъезжать к ним, то ехавшие в бричке свернули в сторону, как бы желая дать дорогу. Двое сидевшие в бричке выскочили, из которых один был одет в гуттаперчевое офицерское с погонами пальто и белую военную фуражку [2], другой же в штатское пальто [3]. Когда унтер-офицеры с арестантом поровнялись с бричкою, то стоявший в офицерской форме человек строго закричал: «Куда едете?» Унтер-офицер ответил: «В Змиев» (централ «Андреевка».— *В. Ф.),* приказав ямщику ехать скорее. Тогда эти двое побежали за телегою, и с левой стороны выскочил из оврага верховой [3], и все начали стрелять; один из первых выстрелов попал в унтер-офицера Яворского, державшего в руках револьвер, но, потеряв силы, не в состоянии был стрелять; другой же жандарм держал правою рукою арестанта, а левою — шашку. В таком положении проскакавши ¼ версты, унтер-офицеры увидели едущего довольно скоро навстречу другого верхового [4], на рыжей лошади, который, вероятно, заметив приготовленный против него унтер-офицером револьвер, проехал мимо, не стреляя; проехавши еще версты три, они увидели едущих обратно 6 человек своих унтер-офицеров, возивших накануне трех каторжников. Последние, взявши раненого к себе, а к арестанту посадив другого унтер-офицера, пустились догонять стрелявших, но не догнали и, по прибытии в Харьков, тотчас же заявили о случившемся полиции и мне.

По принятым в то же время мерам к розыску и обнаружению личностей злоумышленников обнаружено, что в Харькове, на постоялом дворе Пермогенского, была оставлена, часу в 7-м утра, бричка, запряженная парой, и верховая лошадь. Лошади были сильно измучены, а по осмотру брички в ней найдены разное

---

[1] Адриан Михайлов.
[2] Баранников; другим был Фроленко.
[3] Квятковский.
[4] Фомин.

оружие, пули, молотки, подпилки, жандармский офицерский сюртук со всеми принадлежностями и с меткою на внутренней стороне воротника: «Высочайше утвержд. Военное Комисси. С. Петербург», офицерский китель, офицерские фуражки и офицерский резиновый плащ. Люди, оставившие лошадей и бричку, быстро скрылись.

Из расспросов содержателя постоялого двора Пермогенского и его дворника выяснилось, что в половине июня к нему на постоялый двор приехали двое, один из которых называл себя каким-то управляющим [1], приехавшим по разным хозяйственным делам, а другой — кучером его [2]. Спустя несколько дней, к означенному управляющему явился в номер еще какой-то третий и остался у него приказчиком [3]. Вскоре после появления последнего была куплена бричка, четверка лошадей, упряжь и два седла. Одновременно с этим к ним в номер стали появляться еще какие-то двое [4]. Утром рано 30 июня называвший себя управляющим рассчитался за занимаемое им помещение и уехал на купленной бричке, запряженной парою, взял с собою одного [5] из тех двух, которые приходили к нему, а другой [6], а также и называвший себя приказчиком [7] выехали вместе с ними верхами [8]. Около 2 часов дня того же 30 июня все они возвратились, объясняя, что, по случаю наступившей дурной погоды, они решились пробыть еще несколько времени в Харькове. Всю остальную часть дня 30 июня они были дома, а утром, часа в четыре, 1 июля, их уже дома не было, и никто на постоялом дворе не заметил, когда они уехали; часу же в 7-м въехал на двор один кучер [2], при чем сзади брички была привязана одна верховая лошадь, и, бросив на дворе бричку и лошадей, быстро скрылся.

---

1 А. Квятковский.
2 Адриан Михайлов.
3 Фомин-Медведев (не землеволец), привлеченный из Киева.
4 Фроленко и Баранников.
5 Фроленко.
6 Баранников.
7 Фомин.
8 Выехав, Баранников переоделся, сел в бричку, а Квятковский сел на лошадь.

Показанием унтер-офицера Погорелова выяснилось, что означенная бричка и лошадь те самые, на которых были нападавшие на них злоумышленники.

1 июля на Харьковском вокзале железной дороги был задержан тот самый, который, проживая на постоялом дворе Пермогенского, называл себя приказчиком. По предъявлении его унтер-офицерам Яворскому и Погорелову они признали в нем того самого верхового, который попался им навстречу в то время, когда они уезжали от нападавших на них.

Задержанный назвал себя сначала дворянином Федотовым, затем Фоминым; протокол показания его при сем прилагается в копии.

Донося об вышеизложенном, имею честь просить ваше превосходительство предписать о производстве розысков по С.-Петербургу на предмет обнаружения личностей остальных злоумышленников, так как, можно предполагать, в числе их были лица, приехавшие из Петербурга, в чем убеждает, между прочим, то обстоятельство, что найдена в кармане пальто контр-марка С.-Петербургской конной железной дороги. Приметы злоумышленников, которые еще не разысканы, при сем прилагаются; фотографическая карточка с задержанного злоумышленника, называющего себя Фоминым, по изготовлении будет немедленно выслана.

При этом считаю долгом присовокупить, что унтер-офицер Яворский ранен в спину, в позвоночный столб; рана эта врачами признается опасною, и на выздоровление его нет возможности надеяться.

Генерал-майор (подпись).

«О всем этом следовало донести по телеграфу — это опущение времени лишает возможности быстро и своевременно разыскивать убийц[1]».

Попытка освобождения не удалась, но, по словам Фроленко, «шум, поднятый безумно дерзким нападением на жандармов днем, на проезжей дороге, в виду людей, бывших в поле, взбудоражил и жандармов и публику неизмеримо больше, чем тихая, мирная про-

[1] Пометка III отделения.—*В. Ф.*

паганда какого-нибудь поселенца, имевшего дело с одним, двумя, тремя крестьянами на дому».

Остальные участники-землевольцы, бросив квартиры, благополучно выбрались из Харькова и прибыли в Петербург. Один Фомин, не явившийся на указанное ему место действия и не принимавший никакого участия в нем, пришел на вокзал не к первому, а к следующему поезду. Там уже были жандармы и хозяин постоялого двора, который и опознал Фомина. Он был арестован и приговорен к каторге. Никаких имен он не назвал.

Не смолкли еще розыски и толки по делу о нападении, как в Петербурге землевольцами был совершен с блестящим успехом и без потерь акт, нашумевший еще более; участником в нем, как было уже сказано, является Баранников.

Официальное донесение императору об этом деле гласит [1]:

Копия.

Всеподданнейшим долгом считаю довести до сведения вашего императорского величества о нижеследующем:

Сегодня, около 9 часов утра, шеф жандармов генерал-адъютант Мезенцов, во время утренней прогулки с отставным полковником Макаровым по тротуару на Михайловской площади, был у дома Кочкурова встречен неизвестным молодым человеком среднего роста, одетым в серое пальто и в очках, который, не дойдя до генерала шага за три, стремительно кинулся на него и, ударив кинжалом в грудь, побежал за угол в Большую Итальянскую; за ним в погоню бросился Макаров с криком «держи, держи» и, размахивая зонтиком, безотчетно его ударил; в ту же минуту другой молодой человек с черными усами в длинном синем пальто и

---

[1] Дело № 283, ч. 1, 1878 г., 3 эксп., лл. 7-б и 7-в. В виде приложения к этому донесению, вслед за ним, приведено по тому же поводу более подробное изложение из вечернего выпуска «Биржевых ведомостей» от 4/15 августа 1878 г.

черной пуховой круглой шляпе выстрелил в Макарова, но не попал, и затем оба убийцы вскочили на стоявшие в Итальянской, вероятно их собственные, дрожки, запряженные вороною лошадью; на козлах сидел молодой кучер с черными усами без бороды. Сев на дрожки, злоумышленники понеслись по Малой Садовой и скрылись из виду. Г. Макаров, безуспешно кричавший «ловите, держите», вернулся к раненому и вместе с камергером Бодиско, вышедшим из своего дома, посадили генерала на первого встретившегося извозчика.

Генерал-адъютант Мезенцов сознания не потерял, но довольно обильное кровотечение его ослабило.

Приглашенный доктор Мамонов, осмотрев больного, нашел, что положение его весьма серьезно.

4 августа 1878 г.
Дело № 283, ч. 1—1878 г., 3 эксп., л. 21.

ВЕЧЕРНЕЕ ИЗДАНИЕ

№ 174

ТЕЛЕГРАФ

Пятница 4/15 авг. 1878 года.

ПОКУШЕНИЕ НА ЖИЗНЬ ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТА МЕЗЕНЦОВА

Весть о совершенном сегодня, в пятницу, 4 августа, покушении на жизнь шефа жандармов генерал-адъютанта Мезенцова быстро разнеслась в столице. Вот фактические данные об этом чрезвычайном происшествии, собранные на месте, насколько дело выяснилось до 11 часов утра. Генерал Мезенцов встает обыкновенно очень рано и совершает ежедневно прогулки пешком, во время которых посещает часовню у Гостинного двора, на Невском проспекте; зайдя в таковую и сегодня, 4 августа, в девятом часу утра, генерал-адъютант Мезенцов по окончании молитвы, в сопровождении своего бывшего сослуживца и товарища, отставного подполковника Макарова, направился обратно домой, через Михайловскую улицу, Михайловскую пло-

щадь и Большую Итальянскую улицу. Едва генерал вступил на мостовую Итальянской улицы и поровнялся с домом Кочкурова, перед самыми окнами кондитерской приблизилось к нему двое шедших навстречу людей, весьма прилично одетых. Один из них нанес генералу Мезенцову рану кинжалом и вместе с своим спутником поспешно сел в находившийся тут же экипаж. Г. Макаров сделал попытку задержать покусившихся на жизнь генерала Мезенцова людей, но в него был сделан выстрел из револьвера; пуля пролетела мимо, а виновники катастрофы, никем не задерживаемые, так как в этом месте не было ни одного полицейского стража, а равно отсутствовала и публика, успели скрыться. Несомненно только, что и собственный экипаж, и хорошая лошадь, и серебряная упряжь на ней свидетельствовали, что владельцы экипажа люди со средствами. На одном из них только усмотрено серое пальто. Сам генерал-адъютант Мезенцов в момент катастрофы не потерял присутствия духа, и когда выбежавшие на выстрел из кондитерской занятые в ней уборкой приказчики с ужасом спросили, кто ранен, генерал Мезенцов отвечал, что ранен он, и при этом указал на окровавленную сорочку. Поддерживаемый г. Макаровым, генерал Мезенцов дошел до угла Садовой и здесь, сев в экипаж, доехал до своей квартиры, на Фонтанке, у Цепного моста. Не прошло и получаса, а уже на месте катастрофы собралась толпа народа, среди которой, понятно, шли живые толки о только-что совершившемся неожиданном покушении. Нечего и говорить о том страшном смятении, которое произвело возвращение генерала домой раненым. Почти вслед за ним прибыл градоначальник свиты его величества генерал-майор Зуров, военный министр генерал-адъютант Милютин, министр юстиции статс-секретарь Набоков, прокурор судебной палаты и товарищ шефа жандармов генерал-лейтенант Селиверстов. В начале 11-го часа утра для подания медицинской помощи прибыло несколько врачей, но почти час спустя нельзя было сказать ничего положительного ни о состоянии раны, ни о характере ее, хотя генерал-адъютант Мезенцов, по отзыву лиц, имевших случай

его видеть в квартире вскоре после катастрофы, не утратил нисколько своего сознания и полного самообладания.

Редактор-издатель Трубников

Типография Департамента Уделов,
Литейный пр., № 39.

[*Выписка из газеты «Биржевые ведомости»*].

7

Если полиция с ног сбилась, разыскивая участников дела, то сенсацию, вызванную в широких кругах столичного населения чудесным исчезновением авторов и необычайностью всей обстановки убийства, трудно теперь себе представить. Появилось самозванство: ряд лиц, купчиков и мещан, в приятельской беседе за рюмочкой и закуской, стали хвастать, что это они убили шефа жандармов и умчались на рысаке.

Когда в 1924 г. я занималась в Историко-революционном архиве в Петербурге, я читала несколько таких историй, вызвавших неприятные последствия для хвастунов. Неизбежно следовал донос со стороны приятелей, арест и разоблачение. Волна самозванства докатилась до Сибири — и там оказался охотник побывать в тюрьме за желание прославиться молодецким подвигом.

Тайна оставалась в пределах организации Общества «Земля и Воля».

Участники в деле Мезенцова благополучно скрылись и не были разысканы, как и рысак, который умчал их.

Несмотря на все поиски, они как в воду канули. Полиция кинулась и в татерсалы. Но, по какой-то счастливой случайности, во французском татерсале, где стоял «Варвар», на вопрос полиции, не брал ли у них кто-нибудь лошадь, ответили — «нет». Так лошадь уцелела. Между тем это была та самая лошадь, которая в 1876 году была куплена чайковцами, и на ней Орест Веймар увез князя П. А. Кропоткина с прогулки во дворе Николаевского военного госпиталя, в котором

он содержался[1], когда заболел в Петропавловской крепости.

Тайна дела Мезенцова сохранялась до 1880 года, когда ее выдал Адриан Михайлов, игравший роль кучера. В мае этого года, приговоренный к смертной казни по делу О. Веймара, он предал товарищей, участвовавших вместе с ним в этом деле.

Подробности, как произошло это предательство, помещены (вместе с показаниями Адр. Михайлова о Тюрикове и Александре Михайлове) в 1930 году в № 39 «Красного архива». Но еще 50 лет тому назад Исполнительный комитет партии «Народная Воля» знал об этом печальном факте.

В 1880 г., тотчас после того, как он произошел, Комитет получил сообщение о нем от своего агента Клеточникова, занимавшего должность делопроизводителя в III отделении канцелярии его императорского величества.

У меня был тогда в руках этот документ. На ⅛ листа писчей бумаги, исписанной четким почерком, сообщалось, что после приговора по делу О. Веймара граф Лорис-Меликов (в то время председатель Верховной распорядительной комиссии) приезжал в Петропавловскую крепость и посетил Адриана Михайлова. Он сказал ему, что милосердие государя безгранично, и он будет помилован, если назовет лиц, сообщником ко-

---

[1] После освобождения Кропоткина лошадь содержалась в доме матери Веймара на Невском и от чайковцев по наследству осталась на мое попечение. Осенью при образовании землевольческой группы Богдановича и остатки чайковцев из сумм Субботиных я вносила Веймару 50 р. ежемесячно на содержание ее. Предполагая освобождение Бардиной и Любатович, наша группа отправляла «Варвара» в Москву, где они содержались при полицейских частях. Иванчин-Писарев дважды выезжал навстречу Любатович, которую водили в баню пешком. Он ехал медленно рядом с ней, но она не решилась броситься в кабриолет. Попытки кончились ничем. Затем всех подсудимых «процесса 50-ти» перевезли в Петербург. Рысак «Варвар» вернулся к Веймару. Осенью 1877 года я уехала в Самарскую губ., а «Варвара» передала в Общество «Земля и Воля». Дальнейшее помещение в татерсал «Крах» произошло без меня, и в нем хозяином явился Баранников под именем Тюрикова, а кучером — Адриан Михайлов.

торых был 4 августа 1878 года. Адриану Михайлову *сделалось дурно,*— писал Клеточников. На другой день Лорис-Меликов снова посетил Михайлова, и тот назвал Кравчинского, нанесшего удар Мезенцову, и *Тюрикова.*

Никаких других сведений в сообщении Клеточникова не было. Кравчинский в то время был уже давно за границей; настоящую фамилию Баранникова Адр. Михайлов знал, но не назвал ее. Зато, как опубликовано в «Красном архиве», он указал, что *Тюриков* родом из Путвиля, что из Путвиля же происходит Александр Михайлов (которого полиция очень разыскивала) и что оба они связаны тесной дружбой с детства. По этим указаниям жандармы разыскали истинное имя Ал. Баранникова.

Исполнительный комитет не нашел в свое время нужным опубликовать сведения о предательстве. Это могло бы бросить подозрение на Клеточникова, как лицо, от которого получено сведение[1].

8

По мере того как развертывались события и становилось очевидным впечатление, которое они производят, среди членов петербургской группы землевольцев крепло настроение продолжать активную деятельность в городах, и на предстоящий 1879 год начали строиться разные планы в этом направлении. Но в группе на этот счет возникли разногласия. За энергичную активность стали Александр Михайлов, Морозов, Квятковский; на их стороне был и Баранников. Против них стали Плеханов и М. Попов. Последние находили, что увлечение в сторону городских выступлений противоречит программе Общества, основной задачей ко-

---

[1] Когда в 1924 году я собирала материал в Историко-революционном архиве для книги об Александре Михайлове, я видела подлинные записи о разговоре Лорис-Меликова с Адрианом Михайловым. Это второпях написанные карандашом строки, без следов обычных официальных бумаг и *без подписи* писавшего. Я не списала этого документа, такого же краткого, как и сообщение Клеточникова Комитету, потому что не собиралась публиковать его.

торого является деятельность в деревне. Они требовали сохранения верности этой программе и по поводу проектов различных актов в городах оказывали энергичное противодействие.

Орган Общества газета «Земля и Воля» держалась на почве программы, но «Листок «Земли и Воли», который стал издаваться по различным случаям, требующим спешности, под редакцией Морозова, с каждым новым номером все более и более принимал характер агитационного издания, призывавшего к активной борьбе. Так возникла рознь, крайне обострившаяся, когда Александр Соловьев, оставив место волостного писаря в Вольском уезде Саратовской губ., приехал в Петербург с решением совершить во что бы то ни стало покушение на Александра II. Несмотря на сопротивление Плеханова и Попова, покушение было совершено. И неудачно. Тогда решили собрать съезд членов Общества для рассмотрения вопроса: остается ли программа «Земли и Воли» в силе или ее надо изменить? 24 июня (ст. ст.) съезд состоялся в Воронеже; он вынес компромиссное решение: признавая в силе прежнюю программу, съезд допускал проведение в жизнь и нового направления. Но сторонники последнего, опасаясь другого исхода, заранее объединились и собрались тайно от остальных товарищей в Липецке в количестве 11 чел. Они выработали свою боевую программу, назвали себя Исполнительным комитетом и постановили продолжать дело Соловьева; вместо того, чтобы нападать на второстепенных слуг самодержавия, они решили направить нападение на самого самодержца. В случае неблагоприятного решения общего съезда в Липецке было решено выйти из Общества и начать самостоятельное существование.

Надо сказать, что в период обострения отношений Морозов, Ал. Михайлов и их единомышленники приняли предварительные меры на случай исключения или выхода из общества. Внутри *тайного* Общества «Земля и Воля» они составили из себя *тайную* группу, которая организовала около себя вспомогательный кружок из не-членов общества, который принял название «Свобода или смерть!» Они собрали свой фонд; устро-

или мастерскую, в которой стали приготовлять динамит для будущей борьбы, и к лету были готовы ко всякому решению съезда (в Воронеже). (См. 1 ч. «Запечатленного труда». Изд. политкаторжан. 1934 г.).

Баранников принимал участие и в Липецком и в Воронежском съездах, а когда компромисс, выработанный в Воронеже, не выдержал натиска жизни, пререкания в Петербурге не прекратились, и Общество «Земля и Воля» разделилось на «Народную Волю» и «Черный Передел». Баранников вошел в партию «Народная Воля» и стал членом центра новой партии—Исполнительного комитета ее. «Черный Передел» остался верен старой программе, но он не отвечал требованиям жизни, тем условиям, в которых при самодержавии жила Россия и действовала революционная партия.

При абсолютизме политический строй делал невозможной не только какую-либо пропаганду революционных и социалистических идей, но не допускал даже культурной работы в деревне. Во все годы —1877, 1878 и 1879 — никакого притока свежих революционных сил в деревню не было. Все время там оставался все тот же контингент работников, которые уже в 1876 г. были захвачены революционным движением. Но обстоятельства мало-по-малу отрывали и их от деревни: полицейские преследования заставляли оставлять занятые места и уезжать в город. Безрезультатность очень ограниченной деятельности, полицейский надзор, отсутствие элементарных средств для воздействия на крестьянство — они-то и проложили путь новому направлению, которому последовала «Народная Воля», и эти же причины привели к тому, что направление «Черного Передела» сошло скоро на-нет.

9

После разделения Общества «Земля и Воля» партия «Народная Воля» в лице Исполнительного комитета энергично принялась за дело. Преобразованная типография должна была приступить к изданию нового органа, а приготовленный динамит должен был пойти на организацию в 3 пунктах покушений на Александра II

при возвращении его из Крыма. Этими пунктами были: Одесса, г. Александровск и Москва. В приготовлениях на Московско-Курской железной дороге под Москвой должен был участвовать Баранников. Из домика, купленного на имя Сухорукова, хозяевами которого являлись Перовская и Гартман, был сделан подкоп под полотно железной дороги и заложена мина, которая должна была взорвать царский поезд. Работниками по подкопу являлись главным образом Александр Михайлов и Баранников. Это была неимоверно трудная работа. Подробное описание ее Михайловым можно найти в книге «Александр Михайлов — народоволец» (составленной мной и А. Корба). Галлерея подкопа была длиной 41 метр. Она шла всего на 1 арш. 2 в. от поверхности земли, так как глубже рыть было невозможно из-за грунтовых вод. Высота галлереи равнялась всего 16 вершкам, что заставляло работать *сидя*, а потом даже *лежа*. Уже на 20-м метре свеча потухала, и пришлось устраивать вентиляцию из подкопа в подполье домика и дымовую трубу его. Вследствие осенних дождей произошло наводнение: из подкопа было выкачено 40 ведер воды; но все же осталась грязь, в которой лежали и работали по очереди по 2 часа в смену.

Несмотря на все трудности, в начале ноября подкоп был кончен, а 19-го проехал царь. Поезд царя промчался первым, а вторым шел поезд с дворцовой прислугой. И он-то был взорван, к счастью, без жертв.

Это была неудача, но неудача, открывшая грандиозный план. Царь не поехал через Одессу, а под Александровском, где все приготовления были сделаны, взрыв по неизвестной причине не последовал. Но правительство узнало из показаний Гольденберга о подготовлениях в Одессе и под Александровском, и тогда план во всей грандиозности предстал перед правительством и публикой. А в феврале (5-го) был произведен взрыв в Зимнем дворце в Петербурге. Действующим лицом был рабочий Халтурин, вошедший в соглашение с Исполнительным комитетом, который после поступления его столяром в Зимний дворец снабжал его динамитом.

Царь не пострадал, так как динамит находился в подвале, где жил Халтурин, а столовая царя, которую следовало взорвать, находилась в 3-м этаже. Об эффекте этого покушения нечего и говорить. В то время в Петербурге толковали, что уже нет пределов могуществу Исполнительного комитета.

Летом 1880 г. Исп. к-т предпринял покушение из-под воды.

В Екатерининский канал, на Гороховой улице, под Каменный мост были опущены гуттаперчевые подушки, наполненные динамитом. Баранников и Желябов ночью погрузили эти подушки в воду с тем, чтоб при проезде царя по этому мосту произвести взрыв. Совершить это посредством электрической батареи должен был рабочий Тетерка. Недалеко по набережной был маленький помост; на нем Тетерка должен был мыть картофель; под ним, в корзинке, была скрыта батарея. Не предусмотрели, что у Тетерки не было часов: к моменту приезда царя по мосту он опоздал...

10

Следующим делом того же характера, в котором принимал участие Баранников, был подкоп на Малой Садовой из дома Менгдена, где был заведен магазин сыров Кобозевых (Юрий Богданович и А. В. Якимова). Взрыв предполагался на 1 марта, но царь по М. Садовой не поехал и был поражен на набережной Екатерининского канала бомбами агентов Исп. К-та — Рысакова и Гриневицкого. Но 25 января, когда подкоп еще не был начат, а была проломана только стена, Баранников был арестован на квартире Фриденсона, который жил под фамилией Агатескулова. Эта фамилия была известна рабочему Окладскому, осужденному по «процессу 16-ти» в конце ноября 1880 г. После суда он стал предателем и провокатором. Повидимому, он держался до января, а с этого месяца стал выдавать всех, кого знал, и первой жертвой был Баранников, а затем последовал целый ряд арестов членов К-та, все на улице; вероятно, он указывал тех, кого

знал в лицо. Так кончилась политическая карьера Баранников, когда ему было 23 года.

После ареста Баранников не назвал своей настоящей фамилии, но, вероятно, тот же Окладский из какого-нибудь скрытого места опознал его, потому что прокуратура вызвала из Путивля мать Александра Ивановича. Произошла после 6-летней разлуки встреча, в которой были забыты все прошлые обиды и огорчения, и началась деятельная переписка с родными.

11

На одном из первых же допросов на обвинения: 1) в принадлежности к русской социально-революционной партии, *фракции террористической;* 2) в принятии участия в Липецком съезде, где был решен вопрос о покушении на жизнь государя; 3) в участии в убийстве Мезенцова; 4) в участии в покушении 19 ноября 1879 г. в Москве,— Александр Иванович признал себя членом партии «Народная Воля», которая *едина и фракций не имеет*»[1]. Затем следует любопытное место: «Главная, ближайшая цель ее (т. е. партии) — политический и экономический переворот в России, ниспровержение существующего правительства или путем заговора, силами партии, или же путем самостоятельного, широкого, народного, антиправительственного движения, к которому присоединится партия; первая форма, конечно, предпочтительнее, ибо партия в этом случае как в минуту борьбы, так и после победы будет пользоваться большим авторитетом»[2].

Но, признавая себя членом партии и агентом 3-й степени Исполнительного к-та (как того требовал устав организации) и заявив, что он солидарен со всей деятельностью Исп. к-та, Александр Иванович отрицал свое участие как в Липецком съезде, так и в деяниях, поименованных в двух других пунктах. Каждый раз,

---

[1] Курсив мой везде.—*В. Ф.*

[2] Такой взгляд не мог выражать *общего* мнения народовольцев, ставивших выше всего *волю народа и инициативу его.*

когда ему ставили конкретные вопросы о местах нахождения его в такие-то моменты или спрашивали о лицах, он отказывался отвечать. Относительно покушения 1 марта он объяснил, что на основании прошлых фактов и слухов он предполагал, что повторение покушений на Александра II будет иметь место.

Такова была его тактика с момента ареста и до 6 апреля, когда он, изменяя ее, на допросе заявил, что участвовал в деле убийства шефа жандармов Мезенцова в качестве спутника лица, нанесшего удар [1], при чем он должен был прикрывать отступление его. С этой целью, когда Макаров, сопровождавший Мезенцова, бросился и *чуть было не схватил действовавшее лицо,* он выстрелил в воздух («по предварительному уговору, так как при слежении убедились, что Макаров не охранитель шефа, а простой спутник» [2]. При следующем (последнем) допросе 18 мая 1881 г. он признал свое участие в подкопе, из которого 19 ноября 1879 г. был произведен взрыв царского поезда; в июне или в июле 1880 г. закладывал вместе с другими лицами динамит под мостом (Каменным) на Гороховой улице для взрыва во время проезда Александра II, а потом делал попытку вытащить динамит из воды. И, наконец, в январе 1881 г. принимал участие в приготовлениях взрыва на Малой Садовой, но вследствие ареста успел участвовать только в проломе стены, выходившей на улицу. О метательных снарядах ничего не знал.

12

Прошло еще 9 месяцев, и наступил, наконец, давно жданный Баранниковым суд (9 февраля 1882 г.).

После процесса первомартовцев, по которому 5 человек были казнены, этот процесс, «процесс 20-ти» на-

---

[1] Баранников и тут остается верен себе и не называет ни Кравчинского, ни Адриана Михайлова, бывшего кучером.

[2] Выстрел остановил Макарова, но испугал лошадь, которая помчалась. Однако Кравчинский уже успел сесть в экипаж, а Баранникову удалось только ухватиться за крыло кабриолета: некоторое время экипаж тащил его, и только нечеловеческим усилием ему удалось, наконец, вскочить в него.

родовольцев,— был самым громким. Им было заинтересовано не только русское, но и западно-европейское общественное мнение. Обвинялись одиннадцать членов Исполнительного комитета. Среди них, кроме Баранникова, был и его друг Александр Михайлов. Суду подлежали выступления целого пятилетия (1878—1882 гг.). Дело разбирало особое присутствие сената; заседания происходили при закрытых дверях. Даже корреспонденты заграничных газет не были допущены.

В «Правительственном вестнике» по поводу суда были напечатаны только обвинительный акт и сжатое описание хода заседаний суда; ни защитительных речей, ни объяснений подсудимых, ни реплик как с их стороны, так и со стороны защитников, в этом описании не было. В силу этого сведения о «процессе 20-ти» крайне скудны, и единственным источником является «Прибавление» в № 8—9 «Народной воли»[1].

Из подсудимых 10 членов Исп. к-та были приговорены к смертной казни. По поводу предстоящих 10 виселиц во Франции поднял свой голос Виктор Гюго. Но казнен был только лейтенант Суханов, а 9 человек помилованы. Совершенно неожиданно 11-й член Исп. к-та — Баранников — в число приговоренных к смерти не попал, хотя каждый пункт предъявленных ему обвинений был достаточен для такого приговора[2].

Александр Михайлов — главное лицо на процессе — в письме к членам к-та, давая краткую характеристику сотоварищей по процессу, дает между прочим такой отзыв о Баранникове: «Баранников — рыцарь без страха и упрека, служитель идеала и чести. Его открытое, гордое поведение так же прекрасно, как его юношеская душа!»

---

[1] См. книгу А. Корба и В. Фигнер: «Александр Михайлов — народоволец». Государственное издательство. 1925 г.

[2] Удивительно, что дело о вооруженном нападении на конвой под Харьковом для освобождения Войнаральского совсем не выплывало ни при дознании, ни на суде. Я спрашивала об этом Фроленко, который был начальником в этом деле. Он категорически ответил: «Нет!» Участие Адриана Михайлова тоже не было выявлено. В виду покушений на цареубийство прежние громкие акты бледнели...

И это говорит *Михайлов,* такой скупой на похвалы.

Осуждение на бессрочную каторгу было для Баранникова потрясающей неожиданностью. Он говорил, что в перерыв перед объявлением приговора он «спал спокойно, безмятежно спал, так, что его должны были, когда нужно было итти в суд, разбудить. А когда он услышал вместо ожидаемого: «казнь через повешение»—«каторга без срока», он был раздавлен, так ужасна казалась ему перспектива: вечность одиночного заключения... «не чувствовать и не жить легче, чем чувствовать и не жить...» — пишет он после приговора. «После этого приговора какая-то тупая боль почувствовалась в груди, какое-то тупое отчаяние овладело мной».

Но молодость должна была взять свое. Ведь ему было тогда только 24 года. И он был вполне здоров и крепок. Приговор должен был вступить в силу 25 марта, и в последних письмах от 22-го уже не звучат ноты отчаяния. Тогда еще не было Шлиссельбурга — был Алексеевский равелин, и в нем содержались Нечаев, Ширяев и Мирский, как мы знали из переписки с Нечаевым, начавшейся еще до ареста Баранникова. Он мог думать о ссылке на Карийские рудники, куда отсылались обыкновенно политические каторжане, и пример перевода при Лорис-Меликове из харьковских централов в Сибирь мог давать повод предполагать, что «бессрочное» будет срочным.

После суда товарищи по Исп. к-ту получили 2 завещания: от Александра Михайлова и от Баранникова. Здесь опять напрашивается сравнение между этими двумя типами революционеров.

Александр Михайлов, который увлекся расколом и был знаком с посланиями расколоучителей, пишет в форме и стиле последних. Обращаясь к нам, говорит: «Братья» и формулирует свои мысли в 10 тезисах, из которых каждый начинается: «Завещаю, вам, братья». По внутреннему содержанию это трогательное предсмертное наставление. Согласно с духом всей его деятельности, роли *хозяина* организации, блюстителя ее безопасности внешней и ее единства внутреннего, он говорит о взаимных отношениях членов, о взаимном

контроле, о поддержке и о бережении молодых сил, не окрепших в своих убеждениях, о памяти осужденных товарищей и о многом другом, что кажется известным, но о чем всегда надо помнить и *напоминать*. И заканчивает нежным прощанием, прося простить, если кому-либо причинил неприятность...

Более краткое «завещание» Баранникова совсем иное: это, скорее, маленькая прокламация. В то время как Михайлов, вероятно, трезво оценивая положение центра после трех процессов: 80, 81 и 82-го годов, указывает, что надо беречь силы и не разбрасываться, сосредоточив все на *главнейшем* — бить по самодержавию. Баранников как будто полон оптимизма. «Вы переживаете великую минуту,— говорит он (через год после 1 марта, не сдвинувшего ни «общество», ни народ).— Воспользуйтесь же всеми ее последствиями»... «Еще одно усилие, и оно (правительство) перестанет существовать». И последние слова «завещания» гласят: «Живите и торжествуйте: мы торжествуем и умираем».

В приложениях я помещаю оба «завещания»: мне кажется, интересно сопоставить и сравнить их в их полном тексте.

13

Обращаясь к письмам Баранникова к родным, нельзя не отметить некоторых особенностей их. Я уже указывала на то нетерпение, с которым он переносил одиночное заключение в период до суда. Он как будто забыл обычные темпы политической юстиции: забыл, что по процессу 193-х предварительное заключение продолжалось более трех лет, а в других случаях обычно длилось полтора — два года. Он же с первых месяцев после ареста высказывает родным ожидание заключения следствия и назначения суда, который решит его судьбу. Для него эта судьба казалась уже решенной, и он ставит задачей приучить родных к смертному приговору, который, очевидно, неизбежен в виду тяготеющих над ним обвинений. Сам он, еще до ареста, с открытыми глазами шел к тому, что его ожида-

ло, но его родные, провинциальные обыватели, далекие от всех политических вопросов, интересов и течений, должны были, по его мнению, заранее подготовиться к удару, который поразит их через 3—4 месяца. И он усиленно готовит их, а на посторонний взгляд мучает повторением, что он должен умереть, и не только должен,— утверждает он,— но и хочет умереть. Перспектива умереть медленно от болезни или от постепенного истощения в бессрочном одиночном заключении; перспектива тянуть существование бесконечные годы без деятельности, в полной тишине среди безмолвия тюрьмы ужасает его. Он не желает такого существования, не может даже представить себе его.

Другое дело смерть быстрая на эшафоте,— смерть даже «довольно приятная»... Даже то, что он молод, в цвете лет и сил, делает смертную казнь лучшей долей для него. Хорошо умереть в полном расцвете, а не в период упадка, постепенного спускания с высот, на которые поднялся в лучший период жизни... Явно преувеличивая чувствительность брата и сестер, шесть лет находившихся с ним в разлуке, когда они могли думать, что его уже и на свете нет, он думает, что их горячая любовь так обострит удар, который нанесет судебный приговор, что они не снесут его, а между тем для него предстоящий конец имеет влекущую силу. И он рисует родным предстоящую смерть как *светлую* точку, к которой он идет и с которой сходится все ближе и ближе, и вот-вот, наконец, сойдется. Перед его умственным взором встает деревянный помост, два столба с перекладиной...

Так *приучает* он брата и сестер к грядущему приговору. Пусть они заранее примирятся; пусть привыкнут к тому, что его ожидает; пусть ожидают самого мрачного конца и пусть уверятся, что для него, субъективно, этот конец самый лучший, самый желанный...

Судя со стороны, такой способ успокоения близких людей не может не казаться оригинальным. Быть может, это своего рода уникум в тюремной переписке политических заключенных, обыкновенно сдержанных по отношению к предстоящей им судебной каре. Понятно одно прощальное письмо осужденного к его

близким, последнее обращение его к ним, но начать переписку о неизбежности смертного приговора и вызывать призрак смертной казни за неизвестно долгий срок до суда — это, кажется, случай небывалый.

Приходит мысль, не утверждает ли автор самого себя в мысли о неизбежности смерти. Не в себе ли хочет убить инстинкт жизни, инстинкт самосохранения, о котором в одном месте говорит, что *только* его надо убить, чтоб с легкостью перейти в небытие. *Только!* А в нем-то разве он не был силен, в его 23 года, с его жадностью к жизни, так сильно вырывавшейся в желании все изведать, все испытать, сорвать все покровы, обнажить все тайны жизни!..

Желанный способ успокоения доходит до выдумки, что у него чахотка. Все равно — он умрет, должен умереть. Чего же пугаться, чего страшиться?! Как будто такая перспектива может утешить, успокоить тех, кто его любит! Как будто семье все равно, умрет ли близкий от петли палача, на эшафоте, или в постели от туберкулеза...

И что же? Судьба насмеялась над всеми этими нелепыми успокоениями. Ему пришлось выслушать вместо: «смертная казнь через повешение» — «каторга без срока»...

15 месяцев приготовлений себя и своих, приготовлений жестоких, были ненужным, излишним мучительством...

В результате: «если исход будет другой,— утешал он сестер,— то это будет для вас приятный сюрприз»...

Какой сюрприз получился для него — свидетельствуют его собственные слова...

Баранников не предполагал, что попадет в Алексеевский равелин. Но именно туда вместе с другими попали он и Александр Михайлов. Из 10 узников равелина до августа 1884 г. пять человек умерли в нем до перевода оставшихся в живых в новую построенную тюрьму в Шлиссельбургской крепости.

Не дожили до этого ни Баранников, умерший *в августе 1883 г.*, ни Александр Михайлов, который умер от воспаления легких *18 марта 1884 г.*

Оба такие здоровые, крепкие, сильные и молодые...

Смерть этого могучего по своему сложению человека еще в равелине чрезвычайно поразила меня. Я никак не могла помириться с тем, что именно он, при его молодости, силе и здоровьи, мог сойти в могилу, когда более слабые пережили первый период заточения и были в 1884 г. перевезены в Шлиссельбург.

В № 26, в который я была заключена в крепости, я долго считала, что через камеру, остававшуюся подле меня пустой, посажен он. Слыша полновесные шаги взад и вперед по камере, я думала, что только он мог ступать так в тяжелой тюремной обуви. Потом я с горестью узнала, что еще в 1883 году он умер в Алексеевском равелине.

Баранников имел фигуру, выдающуюся по своей стройности и красоте, и отличался большой физической силой и цветущим здоровьем, которые быстро сломились от цынги. Его красивое матовое лицо, без малейшего румянца, волосы цвета воронова крыла и черные глаза, в которых нельзя было различить зрачка, с первого же взгляда обличали его нерусское происхождение. В соответствии с наружностью южанина Баранников был одним из самых энергичных и пылких террористов. Его фигура и мрачное лицо вполне гармонировали с решительностью его убеждений, и если бы нужно было дать физическое воплощение террору, то нельзя было бы сделать лучшего выбора, как взяв образ Баранникова. По смелости и отваге это был настоящий герой: если кого-нибудь можно бы назвать ангелом мести, так именно его. Впечатление, которое он производил при встречах, было всегда велико. Таково оно было и на суде. По крайней мере относительно Спасовича передавали, что на него глубокое впечатление произвел именно Баранников. Его счастливая наружность обеспечивала ему большой успех среди женщин, и в некоторых он вызывал настоящее поклонение.

В 1880 г., когда я была в Одессе, Софья Григорьевна Рубинштейн завлекла меня однажды в театр на оперу ее брата Антона Рубинштейна «Демон». Роль артиста, игравшего Демона-искусителя, склонившегося над Тамарой, как раз подходила бы Баранникову.

В порыве горести я написала в Шлиссельбурге на его смерть стихотворение, помещенное в первый раз в сборнике моих стихотворений, изданном в 1906 г.

НА СМЕРТЬ БАРАННИКОВА

Зачах ты в страданьях неволи,
Прекрасный, отважный герой.
Заслуживал лучшей ты доли,
Мечтал ты о смерти иной.

Тебя в равелине сокрыли,
Сочли неудобным казнить,—
Но жизнь лишь за тем пощадили,
Чтоб медленной пыткой убить.

С душою отважной и страстной
Для бурь ты был создан и гроз.
Погибнуть на битве опасной
Мечту ты в могилу унес.

Ты не был апостолом слова,
Героем болтливой толпы...
С душою закала иного
Искал ты и жаждал борьбы.

Поборник свободы и чести
В стране миллионов рабов,
Казался ты ангелом мести,
Вождем непокорных духов.

С прекрасным лицом горделивым,
С рукою, поднятой на месть,
Вперед ты стремился с призывом:
Свобода!.. Свобода — иль смерть!

Вера Фигнер.

А. И. Баранников

Фотография 1879—1880 гг.

П И С Ь М А

Письмам Баранникова из тюрьмы я предпосылаю три письма, сохранившиеся от 1875 г.

Они вводят в обстоятельства, при которых он вступил в жизнь после окончания военной гимназии и был *вынужден* поступить в юнкерское училище.

Виновником этого принуждения был не только брат Баранникова, к которому он обращается в первом письме, но главным образом, как я уже упоминала, опекун Баранникова, некто Тюряков, который в видах экономии хотел, чтоб его подопечный воспитывался и после гимназии на казенный счет.

В. Фигнер.

Примечание. Почти все письма — подлинники. Те, которые доставлены в копиях, обозначены как таковые. Старая орфография писем изменена. Курсив везде мой.—*В. Ф.*

ПИСЬМА 1875 ГОДА

1

Письмо брату Василию. 1875 г.

Это, наконец, ни на что не похоже... Тебе вздумалось, чтобы уколоть мое самолюбие, возводить на меня небылицу, упрекать меня в неисполнении никогда не даваемого мной честного слова. Откуда ты это взял, когда я его давал, честно ли так поступать? Не ожидал я от тебя этого...

В третий раз прошу тебя выслать мое ружье, так как я имею на него некоторые права[1]

Помните, что своим отказом вы меня глубоко огорчили и оскорбили, заставили итти против вашего желания, чего я никогда не хотел, заставили вообще перенести много тяжелых дней душевной борьбы, а теперь, когда у нас идет тяжелая работа — экзамены, это совсем не годится и не идет.

А ружье все-таки вышлите, так как иначе я не расплачусь с долгами.

А. Баранников.

Ты говоришь, что если я не пойду в военную службу, то прекратишь со мной всякие сношения. Помни же, что причиной этому не я, а ты,— ты первый

[1] Дальше несколько строк зачеркнуто; две из них разобрать нельзя; следующие пять строк подлинника только перечеркнуты и гласят: «так как теперь через месяц буду, вероятно, иметь рублей 50, которые получу за уроки; их я теперь имею в виду несколько, не знаю за какие взяться».

этого пожелал. Желал бы я знать, думают ли последовать твоему примеру и прочие члены моего семейства (мама, Надя, Маша). Если да, то, следовательно, вам и не нужно знать моего летнего местожительства, сиречь адреса.

Прощайте и, как вы этого пожелали, навсегда. Знайте, что я скорей пущу себе пулю в лоб, чем обращусь к вам за помощью при таких отношениях.

Тяжело, но необходимо.

2

Копия

Родным. 1875 г.

Я исполнил вашу общую просьбу, т. е. поступил в училище. Случилось это следующим образом: приехавши в Орел, я несколько раз являлся к директору, но всегда приходил в такое время, что он или спал, или обедал, или занимался; наконец, мне ходить к нему надоело, и я отправился к своему воспитателю[1], объяснил ему положение дел и просил передать мою просьбу директору. Он все это сделал и получил неблагоприятный ответ. По совету воспитателя я поехал в Петербург, конечно, на свой счет (как тут мне пригодились деньги Михайлова[2]) и остановился в гостинице, а воспитатель между прочим хлопотал уже о принятии меня в училище; на другой день я был принят. Да, сколько душевной пытки, нравственной борьбы и присутствия духа истратил в этом деле, но все это меня не смущало, но, когда *пришлось итти просить, чтобы меня ради Христа приняли в училище,* о, как мне было это тяжело, как накипала у меня в груди злоба и ненависть. И что за цель была у вас настаивать на поступлении моем в училище! Неужели вы думаете, что из меня выйдет порядочный офицер?

Нет, нет, нет!

---

[1] По гимназии.

[2] Александра Дмитриевича.

Мой адрес — В Санкт-Петербург. В 1-е военное Павловское училище, юнкеру роты его императорского величества Александру Ивановичу Баранникову.

Александру Ивановичу Баранникову.

На первое время я попал в роту его величества, но когда все съедутся, то я, вероятно, буду переведен в другую роту, так как много будет выше меня.

Когда уехала Маша?

Прощайте, кланяюсь всем родным и знакомым.

Ваш *А. Баранников.*

Всех денег с Михайлов[скими] у меня было 30 рублей, из них я истратил на дорогу до Орла 5 рублей. В Орлове прожил на свой счет 2½ дня и истратил 3 рубля[;] от Орла до Петербурга истратил 12 рублей, да в Петербурге прожил 1 день за 1 рубль. Итого истратил 21 рубль, следовательно осталось у меня 7 рублей[,] что бы уплатить Михайлову нужно 13 рублей.

Александр Баранников.

13 августа

3

8 апреля [1875].

Копия

Милостивый государь
Евгений Петрович!

Во-первых, я попрошу у вас извинения за те хлопоты, которые принесет вам мой последний поступок; а, во-вторых, постараюсь, насколько мне это удастся, объяснить его причины. Ожидать связного, определенного рассказа от меня в настоящую минуту невозможно, так как я нахожусь в нескольких шагах от своей могилы; поэтому все причины, которые я вам выставлю, покажутся, быть может, самыми незначительными, но, несмотря на это, они-то в своей сложности и заставили меня сперва подумать о самоубийстве, а потом привести эту мысль в исполнение.

Причин этих много, они начали постепенно являться еще года два-три тому назад, с тех пор, как я начал отдавать себе отчет в своих поступках, начал задавать-

ся кое-какими целями, как в голове моей начали зарождаться кое-какие идеи. Начало этого времени было лучшим периодом моей жизни; фантазия моя, вследствие недеятельного еще контроля со стороны рассудка, работала без устали. Это было время смелых проектов, новые цели сменяли друг друга чуть не ежедневно, *я чего-то хотел, к чему-то стремился.* В это время встретил я человека[1], который заговорил со мной не так, как другие, от которого я впервые услышал правду, который показал мне путь, приведший его к сознательному стремлению, к определенным целям. Путь этот — разумное чтение серьезных книг. Я с жаром набросился на книги; читал два с половиной года и кое-что вынес из чтения. У меня действительно начали являться определенные цели, начали слагаться убеждения. Затем пошли неудачи... Я хотел одного, а независящие от меня обстоятельства давали другое; я хотел из гимназии итти в медицинскую академию, вышел уже с этой целью, получил свидетельство об окончании курса среднего учебного заведения, но денежный источник, на который я рассчитывал как на первоначальную поддержку, исчез, и я, оставшись без гроша, должен был опять поступить в училище. Здесь все время во мне происходила страшная борьба, мешавшая мне и читать и заниматься; я решил было выйти из училища в солдаты, но, узнав, что там придется промучиться 1½ года, изменил свое решение. После этого-то у меня и явилась мысль о самоубийстве; сперва она была для меня чем-то ужасным, я гнал ее от себя, но потом начал постепенно свыкаться, начал вдумываться в нее и порешил, что это единственное спасение от всех мучивших меня сомнений, противоречий: я не в силах был осуществить или стремиться к осуществлению своего идеала, а все остальное казалось мне незаслуживающим внимания, следовательно, чтобы не коптить даром неба, я должен был умереть. Это мое глубокое и всесторонне обдуманное решение: не даром же я просидел над ним более двух месяцев. Но все-таки как хотите, а трудно, тяжело расставаться с

[1] А. Д. Михайлов.

жизнью, как посмотришь на Неву, которая скоро скроет мой труп. Делается так нехорошо, так грустно. А умереть все-таки я должен.

Впрочем вам, вероятно, нет никакого дела до моих предсмертных вздохов, поэтому я постараюсь прервать их поскорее; притом же в них, кроме чепухи, ничего нет... Решится человек умирать, ну и умирай; к чему же тут эта нерешительность: а сам только-что говорил, что решение его глубоко продуманное, что шаг этот «необходим». Прощайте, желаю вам всего хорошего и пр.

А. Баранников.

Если труп мой будет найден... впрочем, похороны мои будут совершены, вероятно, без всякого обряда, так как я лишил себя жизни при полном сознании своего поступка.

Странно, какие цели преследуют другие люди, мои товарищи, например; у меня в последнее время совсем не было цели, а у них ведь офицерский чин рисуется вдали на горизонте как нечто приятное, вознаграждающее все неприятности 10-летнего подневольного положения.

ПИСЬМА 1881—1882 ГОДОВ

1

Письмо к брату Василию

Копия

[Вероятно, от 15 февр.—*В. Ф.*].

Для меня происходящие у вас события кажутся необыкновенно странными: люди хлопочут, бьются изо всех сил, судятся между собой — и из-за чего? Чего вы хотите достигнуть? Вам нужно *личное* счастье, вы ищете наслаждения *для себя,* а забываете, что единица может быть счастлива только тогда, когда счастливы все. Чтобы быть счастливым тогда, когда вокруг тебя все плачет, нельзя. Быть счастливым, а видеть вокруг себя слезы — это по меньшей мере безнравственно. А вокруг вас все действительно плачет, все страдает, вы же хотите выскочить из этой бездны, хотите отделаться от всех, хотите быть счастливыми, это невозможно, невозможно. Начало твоего письма для меня несколько непонятно: кого подозреваешь [подразумеваешь?—*Ред.*] ты под «враждебной тебе партией», на сторону которой перешел и я[1]? Не говорил ли ты про [пропуск], или, быть может, ты намекаешь затронул на [пропуск]?

Этого я не знаю. Да вопрос этот для меня и не особенно интересен, так как если верно мое 1-е предположение, то ты ошибся, так как я на их сторону не перешел, а предпочитаю считать твой поступок, высказан-

[1] Дело идет о женитьбе Василия Ивановича Баранникова на двоюродной сестре, что мать его считала грехом и чему упорно сопротивлялся бывший опекун Баранникова Тюряков.—*В. Ф.*

ную тобой самостоятельность весьма сочувственно. Но твой эгоизм, твое «я» — они для меня непростительны.

Но я не могу продолжать своего письма. В последнее время со мной случаются прекурьезные казусы: находят на меня такие минуты, в которые я делаюсь окончательно сумасшедшим. Серьезно. В голове начинается этакое кружение, я перестаю соображать, меня бросает в страшный жар, такой жар, который заставляет меня обливаться холодной водой; мне так и хотелось бы погрузиться в холодную воду.

Прощай, я чувствую, что начинаю говорить чушь.

2

[К матери и сестрам]

Копия

[Начало вырвано]

что-же это, мои дорогие, н[пропуск] до сих пор ответа. Или вы не получили еще моего письма? Хотя прежде, чем попасть на почту, оно и должно пройти через несколько рук, но все же, даже и при этом условии, вы давно должны бы были его получить, ибо написано оно почти месяц тому назад — 15 февраля[1]. Даже и в Петербурге, представьте себе, уже запахло весной: солнышко начало пригревать, воздух сделался мягче, а у вас, конечно, и подавно, признаки весны еще заметнее. Ах, как мне не хочется, право, переходить к своей персоне, потому что ничего особенно утешительного для вас я сказать не могу. Если бы возможно было, чтобы вы вовсе про меня забыли, как бы это было хорошо, а то ваше горе мучит меня в настоящее время и смущает мой покой; если бы не мысль о вас, так я чувствовал бы себя прекрасно. Обстановка, в какой я здесь нахожусь, очень и очень удовлетворительная: я имею свою отдельную комнату, в ней стоит кровать, стол, умывальник и пр.; утром и вечером я получаю чай с белым хлебом, в час дня обед из трех блюд, ежедневно

[1] Письмо от 15 февр. отсутствует (*В. Ф.*). Настоящее письмо написано, если предыдущее письмо не считать за письмо от этого числа, вероятно, в первой половине марта 1881 г.

водят гулять, на свой счет можно покупать все что угодно, и так как у меня есть деньги, то я пользуюсь этим правом... Вообще, как видите, хорошо. Итак, за мое настоящее не бойтесь: мне хорошо; что же касается будущего, то, конечно, ничего определенного сказать не могу, хотя и считаю долгом предупредить вас, что нужно приготовиться к самому худшему: если ожидания оправдаются, то это не будет для вас новостью, если же не оправдаются, то это будет приятным сюрпризом. В жизни вообще выгодно держаться этого правила — рекомендую вам; самые ужасные происшествия не будут для вас так страшны, как для тех, кто [вырвано].

У нее[1] в деревне я прожил апрель, май и июнь 1879 года, а затем дела заставили меня уехать, и с женой я с тех пор не встречался, потому что пришлось переменить фамилию, а с новой являться к ней было, конечно, нельзя. Много еще разных казусов было со мной, я и не сообщаю теперь, потому что их, вероятно, вычеркнут, но на суде все это всплывет наружу — тогда узнаете.— 25 марта мне будет 23 года (или 22?), только 23, а сколько за это время пришлось пережить, передумать, перечувствовать. Завидна, право, моя жизнь: за такое короткое время столько ощущений, да каких ощущений! Я убежден, что в глубине души вы завидуете моей доле, и немудрено — ваша жизнь такая неприглядная, бледная, скучная. Одна мысль о том, что и я мог бы так же провести свою жизнь, как и вы ее проводите, приводит меня в ужас. Нет, счастье не в покое, не в тишине, а в борьбе, оно не приходит само — его нужно поймать, и блажен тот, кто его поймает! Но что делать? Ужасная, подавляющая обстановка провинциальной жизни, отсутствие умственных интересов, отсутствие людей — вот оправдывающие вас обстоятельства.— Чорт знает что такое: непременно съедешь на общие рассуждения, а ведь когда-то я не любил, но это одиночество как-то невольно на них наталкивает. Простите — не буду. Одного только мне недостает в настоящее время, это — газет; не знаешь, что де-

[1] У Ошаниной.

лается на свете, в каком положении греческий вопрос, ирландское движение, экспедиция Скобелева (военная жилка у меня еще осталась); но, что делать, нужно мириться с этой маленькой неприятностью, тем более, что $^{99}/_{100}$ обывателей Российской империи не чувствуют даже и надобности в них.

Когда вы ждете к себе Василия? Чувствую вообще, что нам видеться не следует, потому что свидание только сделает чувствительнее старые раны, которые под влиянием времени стали у вас заживать, но, несмотря на это, видеть вас все-таки хочется. Но будем благоразумны, лучше всего нам не видеться, тем более, что скоро, вероятно, будет суд, а там... да и дорого это ужасно, не по карману, во сколько вам обошлась эта поездка? Простите меня, что я вас побеспокоил. Если бы я сразу сказал свою настоящую фамилию, то вас бы и не вызвали, но я нарочно не говорил, рассчитывая на свидание. Неприятно, конечно, было для вас это свидание, но мне оно принесло много удовольствия. Жалею, что Нади и Васи не было, тогда я был бы вполне доволен. Как вы поживаете? Мама, вы, голубушка, не хворайте, это нехорошо. Надежда, тебя можно уже поздравить или нет еще? Вспоминаю я, дорогая моя, что не придется мне поцеловать тебя еще раз.— Тебе, Маша, я от души советую читать, читать и читать, старайся чем-нибудь наполнить ту ужасную пустоту, какая перед тобой в настоящем, какая будет, вероятно, и в будущем. Создай себе какой-нибудь интерес, хоть чисто умственный, если уж не жизненный, а то скверно тебе будет, будешь чувствовать, что постепенно опускаешься, силы тебя оставляют... Нехорошо. Не понимаю, право, отчего это я на тебя до сих пор смотрел как на девочку? Когда я тебя увидел в последний раз, то так живо вспомнил наши детские шалости, мои посещения тебя в Смольном и пр., и пр. Да, детство и юность прошли безвозвратно, да и зрелость-то моя наполовину прошла, самая неинтересная часть теперь настает, с ней не жаль будет и расставаться. Что в граде Путивле нового? Как поживают родные и знакомые? Кто из барынь блистает теперь в путивльском свете? Какие воспоминания обо мне остались? Помнят ли меня те,

за которыми я, 16-летний юноша, ухаживал? Правда ли, что меня и Михайлова путивляне считают за поджигателей? ха-ха-ха... Напомните обо мне Любовь Николаевне, кланяйтесь Терлецким. Целую Николая и Петра Петровичей, Грунских, Науменковых. Прощайте. Вас крепко, крепко [пропуск].

Виктору Александровичу мой низкий поклон и братский поклон его родным также. Васе я отправил два письма. Прощайте. Еще раз целую вас.

Любящий А. Баранников.

3

4 марта 1881 года.

Петербург, Штаб С.-Петербургского жандармского управления, для А. И. Баранникова.

Дорогой брат!

Извини, голубчик, что докучаю тебе своими письмами, которые в сущности ничего в себе не заключают кроме болтовни праздного человека. Да, праздного; какое это неприятное состояние; встаешь утром и знаешь, что в продолжение целого дня тебе предстоит... ничего не предстоит; все твои движения будут бесцельны, мысли никому не нужны; чувствуешь, что ты один, предоставлен самому себе... вечное одиночное заключение — это самое страшное наказание, какое мог изобрести человеческий ум. Какой светлой точкой, каким желанным радостным событием на этом мрачном фоне является последний день. Все ближе и ближе, светлей и светлей делается эта точка, близок уж день, когда мы столкнемся. Гартман в своей «Философии бессознательного» говорит, что сотворение мира есть продукт воли верховного существа, действовавший в момент творения бессознательно, не представляя себе того, что выйдет, каков будет результат творения; а посему мир, как продукт бессознательности, неразумной воли, не может быть хорош,— это вывод априористический. Наблюдение над жизнью убеждает его, что вывод верен: сумма страданий на земле гораздо больше суммы наслаждений. Когда верховное существо посредством другого своего атрибута, представ-

ления, сознало, что творение, мир нехорош, оно захотело исправить свою ошибку и дало человеку сознание, с тем, чтобы он употребил его на самоуничтожение; а посему и вся цель человеческой жизни сводится к самоуничтожению. Но к этому сознанию человек приходит не сразу; человечество в своей массе не пришло к нему и до сих пор, хотя и стоит на верной дороге; придет оно к этому выводу путем отрицательным, т. е. будет задаваться другими целями, находить их несостоятельными, и это будет продолжаться до тех пор, пока большинство не сознает, что самоуничтожение есть единственная лучшая задача человечества. История поэтому представляется Гартману в следующем виде: сначала везде царит принцип эгоизма, каждый думает только о себе и в этом ищет счастья, затем разочарование и переход; люди начинают искать счастья в общем благе, разочаровываются и в этом, а отсюда уже прямая дорога к самоуничтожению. Каковы же задачи отдельного человека, видящего конечную цель существования? Деятельное и энергичное участие в жизненном процессе, возможное его ускорение, приведение вообще людей к сознанию необходимости самоуничтожения. Самоубийство является в данном случае глупой и преступной вещью, ибо не приближает *человечества,* не способствует ему дойти до известного вывода.— Вот последняя серьезная философская система; какая мрачная, ужасная, не правда ли? Какую роль играют здесь люди[?]

Насколько помнится, скоро будут именины Маши; поздравляю тебя и желаю всех земных благ; как неприятно, что письма идут так долго: вы написали 12-го, а я получил 1-го.

Прощай брат. Вспоминай иногда обо мне.

4

Копия

22 марта 1881 года.

Много ли в моих письмах зачеркнутого[?] В твоем ничего.

За предложение прислать денег, спасибо, но мне не нужно, есть еще свои.

Письмо ваше от 9 марта я получил 15-го, на этот раз без промедлений. Мое письмо от 10 марта, в котором я выражаю удивление и отчасти недовольство на вашу неаккуратность, я отправил, следовательно, не зная истинной причины этой неаккуратности, а посему прошу в вину мне не ставить.— Меня еще при нашем свидании, дорогая Маша, удивили некоторые твои замечания, но я не придавал им значения, думая, что вследствие кратковременности этого свидания и непродолжительности разговоров я просто-таки не понял тебя. Но из твоего последнего письма явствует, что те замечания поняты мною правильно, что они выражали твое душевное настроение; в письме ты прямо говоришь: «прошел день — и слава богу: ближе к смерти». Неужели это что-нибудь серьезное, неужели это выражение твоего душевного состояния? Нет, я этому не верю; ты сказала это просто под впечатлением чего-нибудь неприятного. Положим, что действительность куда как некрасива; положим, что идеал не в смысле фантазий, а в смысле возможного еще далек от осуществления, но все это такие вещи, от которых руки ни в каком случае не должны опускаться, напротив, препятствия должны возбуждать энергию; чем этих препятствий больше, чем они на первый взгляд ужаснее, тем приятнее с ними бороться, тем приятнее их в конце-концов одолеть. Конечно, все это так при одном непременном условии — при абсолютной уверенности в идеале. Он должен стоять незыблемо, быть никогда не меркнущей путеводной звездой всех твоих поступков; если эти условия соблюдены, тогда никакие испытания тебе не страшны, дух твой будет непобедим. Итак, в жизни необходим идеал, цель; эта цель должна быть самым тщательным образом выбрана и проверена; кроме этого, несомненно, требуется всецело посвятить себя, свои силы, способности, симпатии и антипатии на достижение этой цели, на осуществление идеала. Для некоторых натур вторая часть есть непременное последствие первой: они не могут верить в

одно, а служить другому; для других [1] нужна еще продолжительная борьба с инстинктами, страстями, прежде чем они, очистившись, освободившись от всего постороннего, отдадутся тому, во что верят; третьи всю свою жизнь проводят в этой борьбе с самим собой, и четвертые, наконец (большинство), ухищряются всю жизнь провести без всякой цели (возвышенной, выходящей из круга обыденных). Я считаю лишним оговаривать, что эти подразделения теоретические, что таких резких граней в жизни нет; я намечаю их для того, чтобы под одну из них подвести тебя, мой друг. Человек, говорящий: «чем скорее умереть, тем лучше»,— или чувствует свою неспособность служить любимому делу, т. е. принадлежит по натуре к третьей категории, или же его не удовлетворяет ни один из идеалов, ум его признает их несостоятельными, и жизнь, понятно, делается бесцельной. Не совершается ли нечто подобное и в тебе? Если так, то в отчаяние приходить еще рано, с новой энергией нужно приняться за поиски, и идеал отыщется, силы найдутся: «ищите и обрящете!» Если с этой точки зрения ты взглянешь на мою жизнь и на мое настоящее положение, то ничего удивительного, заслуживающего сожаления в них не найдешь: я отыскал идеал, наметил цель и стремился к ее осуществлению. Сознание, что этим самым я исполнил свой долг, честно служил своему делу, доставляет мне в настоящую минуту наслаждение; напротив, если бы я, отыскавши идеал, пошел по той дорожке, на которую меня толкнули обстоятельства, если бы во мне шла постоянная борьба между долгом и боязнью его исполнить, эта вечная двойственность была бы причиной постоянной жгучей боли, непрерывных страданий, мучений. Итак, в первом случае — наслаждение, во втором — страдание; тут не может быть выбора. Все твои возражения могут быть направлены только на одно — на свержение моего идеала с того пьедестала, на который я его вознес. Но об этом, к сожалению, говорить, вероятно, не позволят. Считаю необходимым ко всему вышеизложенному прибавить, что я не отлича-

[1] Зачеркнуто в оригинале: «же, к сожалению, для большинства»

юсь особенной исключительностью: питая особенно нежные чувства к своему идеалу, я в то же время признаю существование и других и, следовательно, могу любить и уважать людей, которые к осуществлению их стремятся, раз только служение это бескорыстно, не обусловлено посторонними соображениями. В истории да и в жизни современной часто приходится видеть двух врагов, проникнутых друг к другу уважением. Ну, на эту тему довольно; если бы я был на свободе, так не было бы и этого, но безделье, в котором я теперь обретаюсь, заставляет забираться в эти совсем для меня несимпатичные области.— Тебя, Надежда, поздравляю с прибавлением семейства (так, кажется, говорят); воображаю, как мама радуется своим внучкам, через 15—16 лет ведь могут быть правнуки... Мое начальство очень удивилось, дорогая мама, что вы такая еще бодрая на вид (как бы не сглазить; впрочем я при этом три раза плюнул) в противоположность матери Михайлова, которая, как оно говорит, выглядит дряхлой старухой. Боюсь я только, чтобы не подействовало на вас мое положение; право, мама, ничего; мало ли каких превратностей не бывает с человеком; если бы все родились, жили и умирали по одному образцу, так ведь это было бы очень скучно. Знайте, что я доволен собой, что та жизнь, которую я вел, и та участь, которая меня ждет, самая для меня желательная; а ведь для вас, как вы сами говорили когда-то, нужно счастье мое[1], моим счастьем будете счастливы и вы. Я счастлив, следовательно, и вы должны быть счастливы. Если бы я в то время сделался офицером, то был бы несчастлив. Успокойтесь, дорогая, и не бойтесь за меня. О суде я попрежнему ничего не знаю, надо полагать, что будет скоро. Воображаю, как путивлян поразит история со мною; притом же на суде будет сразу двое путивлян; это поразит моих благонамеренных сограждан; последние, скажут, времена приходят. Что, кстати, в Путивле нового? Предчувствую, что ничего.— На тебя, Надя, я недоволен: так-таки ни одной строчки, ни одного слова; ты, быть может, ожи-

[1] Так в тексте.— *В. Ф.*

даешь письма специально к тебе; но я по старой памяти пишу всем вместе. Надеюсь, что ты преодолеешь свою лень и напишешь мне. Или, может быть, ты на меня сердита? Так я протягиваю руку и предлагаю мир; если виноват, то прошу прощения и советую простить, а то после будешь раскаиваться. Еще раз предупреждаю вас, чтобы вы приготовились к дурному (в вашем смысле) концу; не удивляйтесь, если прочтете в газетах неожиданный для вас приговор.— Что-то делается на свете? Ах, если бы газет почитать! Не понимаю, право, отчего нам не дают. Воспользоваться сведениями, оттуда почерпнутыми, если бы ими можно было воспользоваться, мы лишены возможности; а между тем это весьма значительное стеснение, которого люди находящиеся под предварительным арестом, не заслуживают. Но что делать! — В Питере все еще бывают морозы, изредка перепадают теплые дни; приближение весны, вообще, заметно. Ну, прощайте, всего хорошего, целую вас. Кланяйтесь Виктору Александровичу; как поживает Анна Ивановна? Целую новорожденную племянницу, а также старшую Н. Викторовну. Отвечайте; надеюсь, Маша, на твою аккуратность; Надя, ты тоже должна мне написать. Предвижу ответ «нечего писать»; найдешь, если захочешь. Ну, целую вас крепко, крепко. Прощайте. Ваш до гроба

А. Баранников.

От брата писем нет.

5

Копия

3 апреля 1881 года.

В злом, ожесточенном настроении духа был я первого апреля, большими шагами ходил из угла в угол в своей камере до самого вечера, самые разнообразные чувства волновали меня, но ненависть между ними преобладала. К вечеру напряжение достигло высшей степени, нервная система работала так, как никогда до сих пор: хорошо и вместе с тем жутко было, я всем своим существом чувствовал, что жизнь еще кипит во мне, что страсти еще волнуют мою душу, что я еще не

разбит и всецело собой располагаю. Не знаю, чем бы все это кончилось и как долго продолжалось бы такое настроение, если бы около 9½ час. вечера не открылось бы окошечко в моей двери и рука сторожа, показавшаяся в нем, не подала бы мне двух писем. Одно из них было от тебя, дорогая сестра, другое от брата. По мере того, как подвигалось вперед чтение этих писем, полных такой нежной любви, изменялось и мое настроение: буря в душе улеглась, страсти успокаивались; вместо злобы и ненависти, засыпавших навремя, являлись любовь и... еще что-то, в чем я не хочу сознаться. Да, великое чувство любовь; она, как и вера, может передвигать горы с одного места на другое. Жаль только, что ей нет места в нашей общественной жизни — не доросли мы еще до нее; пока она приютилась в семье, да и то как часто гонят ее и оттуда. Бродит она, несчастная, по свету без приюта, не знает, куда ей преклонить свою горемычную голову

ее исконные — злоба, ненависть —
время на земле властвуют
кими. Но... будет
она торжествуя. (
хорошо будет жить м
будут вспоминать о тех
одним непрерывным

[вырвано]

Да, дорогая сестра, ты правду говоришь, много в тебе, насколько это по крайней мере может быть видно из письма, произошло за эти пять лет нашей разлуки перемен. Не та ты стала, нет уже в тебе того блеска, который мне когда-то так нравился, который мне всегда так ясно представлялся, когда я вспоминал о тебе. Поулеглось все это, поуспокоилось; солидной барыней ты теперь выглядишь. Говоря откровенно, не нравится мне это, больше к тебе шла та (зачеркнуто 1½ строчки.—*В. Ф.*) (это я сам зачеркиваю) страстность, непоседливость, чем теперешняя солидность, сдержанность... Или это уж общая участь людей, что они с годами теряют те черты характера, которые у них были в юности, и такие субъекты, как Гете, сумевший до 80 лет сберечь в своем характере все черты самой ранней юности, составляют только редкое исключение. Должно быть, что так

Грустно это очень. Неприятно сознавать, что ты стареешь, а это при перемене характера делается так заметно: то, что прежде нравилось, теперь не нравится, что когда-то интересовало, теперь не интересует. Пусть Виктор Александрович не подумает, что я хочу совращать тебя с пути истинного — нет, я только констатирую факт и замечаю от себя, что факт этот грустный. Помнишь, дорогая, старину, наши выходы и выезды в свет, сад и пр., пр... Одно за другим проходят воспоминания детства и ранней юности,

[вырвано]{ но теперь все-таки лучше:
самого последнего времени,
только представлялось возможповеселиться, потанцовать,
отношением нисколько не изменился.

Что ты мне ничего не пишешь о путивльских барынях — они меня сильно интересуют.— Вчера, 2 апреля, я узнал, что брат приехал в Петербург и живет здесь уже 4—5 дней, но мне почему-то не дают с ним свидания. Чувствовать, что дорогой человек так близко от тебя и не видать его — это ужасно неприятно, поневоле будешь злиться. Как мне хочется его видеть: ведь вот уже 5 лет и 9 месяцев как мы с ним расстались. Несчастные, как мне вас жаль...

Но мужайтесь, ведь вы верите в загробную жизнь, следовательно, должны верить и в то, что мы с вами еще увидимся там, где нет ни болезней, ни печалей, но жизнь бесконечная [зачеркнуто]. Приезд брата доставляет мне величайшее удовольствие, но ему, несчастному, будет очень, очень тяжело: до сих пор он верил в то, что участь моя еще не решена бесповоротно, но теперь должен будет в этом разубедиться. Да, дорогие, снова повторяю: приготовьтесь к самому худшему.— Да, кстати, а, может быть, и не кстати, но все равно, я должен вам сделать строгий выговор, хоть это и не подобает младшему члену семьи, но теперь такой век, что младшие не хотят покоряться старшим; дело вот в чем: неужели женитьба брата на Елиз. Петр. возбудила в вас такое негодование, неужели дело дошло до традиционных проклятий? Это, право, ужасно. В Западной Европе полюбить свою кузину и

Этого места маме не читайте

жениться на ней считается самой обыкновенной вещью, никакого в этом греха никто не находит. Если это возможно на Западе и если в России живут такие же люди, как и там, то значит полюбить свою кузину возможно и у нас. А в данном случае все было налицо, даже и венчание, значит брак в полном смысле слова законный, чего же вам еще! Нет, дорогие, нехорошо это. Ведь вы, маменька, сами выходили замуж без согласия на то отца вашего жениха и знаете, как это неприятно. А вы, Надя и Маша, неужили и вы были против этого брака? — какой стыд. Мама, вы после поездки в Петербург все хвораете; перестаньте, дорогая, а то я рассержусь и сам захвораю. Простите меня, знаю, что глубокую нанес вам рану, быть может, даже и неизлечимую, но не я виноват,— виноваты роковые обстоятельства. Вы же, сестры, народ еще молодой, жизни для вас впереди еще много, вы старайтесь обо мне забыть — это самое лучшее. Погорюйте немножко, да и довольно. От тебя, Машутка, жду письма, как твои занятия.— Отчего вы мне ничего не сообщили про Петр. Зах.? — экий негодяй. Надеюсь, теперь и вы все в этом убедились. Как велика сумма, которую он замошенничал? Вот вам и добродетельный человек! Виктор Александрович доставит мне своим письмом величайшее удовольствие — жду его с нетерпением. А теперь, дорогие, прощайте, целую вас всех крепко. Если увижусь с братом, то скажу ему, к кому обратиться за моей карточкой. За предлагаемые деньги, Надя, спасибо, но их у меня пока достаточно — не нужно; понадобятся об [вырвано] скоро. Прощайте, не поминайте лихом. Откуда ты выкопала [вырвано].

6

7 апреля 1881 года.

В жизни каждого, вероятно, человека, если только жизнь эта идет по одному направлению, а не скачет из колеи в колею, есть своя кульминационная точка. Заберется он высоко-высоко, продержится там некоторое время, да и летит потом оттуда вниз головой. Один взбирается на эту высоту медленно, с расстанов-

ками, долго там сохраняет равновесие и потом медленно же спускается вниз; другой попадает туда в несколько прыжков, держится там несколько мгновений и так же стремительно, как взбирался, срывается в пропасть; третий... и т. д. Все то время, которое человек проводит на высоте, есть лучшее время в его жизни: тогда только он живет в полном, широком смысле этого слова; тогда только ему легко, свободно дышится; тогда только он не боится никаких препятствий, лежащих по дороге к его цели; тогда только все[1] послушно ему и является орудием в его всесильных руках. Он властвует, берет от жизни все, что в ней есть прекрасного, он — венец творения, он — царь. И благо ему, если он сумел воспользоваться этим временем, если он угадал его. Пройдет оно, и он снова ничтожество; одно ему останется — плакать о прошлом в уверенности, что оно никогда не вернется. Не счастлив ли тысячу раз тот, чья жизнь оканчивается на рубеже этих двух периодов? Там, позади, счастье, радости, но туда не вернешься, а впереди — горе, страдания... так не лучше ли остановиться именно здесь. Да, несомненно, это лучше[2].

По отношению ко мне можно говорить, что я сознательно хотел сократить это хорошее время жизни, что при естественном ходе вещей я в мои 23 года еще не скоро дожил бы до такой поры... Но я в свою очередь спрошу: была бы при нормальных условиях жизнь моя столь прекрасной, какой она была теперь? Нет[3]. Если я проиграл в количестве, то выиграл в качестве. Что выгоднее? По-моему, выиграть в качестве... Представьте себе мельницу; ее пускают в ход только тогда, когда уже засыпано зерно; камни вертятся, перетирают его и обращают в муку. Но что будет, если жернова будут вертеться, а зерна не будет? Камни будут перетирать друг друга и в этой непроизводительной работе самоуничтожаться. В таком же точно положении

---

[1] В подлиннике после слова «все» зачеркнуто: «ему улыбается тогда только все».

[2] В подлиннике зачеркнуто: «лучший исход».

[3] В подлиннике слово «Нет» написано вместо зачеркнутого «Да».

находится и человек, полный сил, стремлений, жизни, в груди которого бушуют страсти,— обреченный на вечное бездействие, оторванный навсегда от жизни. Он скоро сделается жертвой внутренней борьбы, она его убьет; силы свои он употребит на самоуничтожение. Итак, спасения нет: или скорая, легкая и сравнительно приятная смерть, или медленная, мучительная пытка, которая в конце-концов кончится все-таки смертью. Ей-богу, первое выгоднее и приятнее[1]. Нужно только немного мужества, чтобы отделаться от инстинктов и сознать, что этот исход самый лучший.

Ты, мой дорогой брат, столько на своем веку видел крови, смерть витала около тебя в продолжение стольких месяцев, столько жертв взяла из среды окружавших тебя,— ты должен был к ней привыкнуть[2]. Вспомни свои ощущения. Думал ли ты о себе, видя, что делается кругом; думал ли ты о том, свалишься или останешься жив, когда кругом тебя валились сотни,— одним больше, одним меньше, вот и все. Конечно, в данном случае является на сцену родственное чувство... Знаешь ли ты, чего мне стоило при нашем свидании удержаться от слез? Я не мог позволить себе и этого удовольствия: там были люди, которые не должны видеть моих слез. Дорогой брат, если бы я прожил еще сто лет, я никогда бы не забыл нашего свидания; боже мой, какую бурю внесло оно в мою душу. Боже мой, сколько тут было любви искренней, горячей, беспредельной. И к кому? К человеку, который всем вам ничего кроме страшного горя, бесконечного страдания и пыток не принес.

Но что же делать, если привязанность к вам, жизнь для вас шла вразрез с другой привязанностью[3].

Буря, гроза разразилась над русской землей, много крыш сорвет она, много деревьев повырвет с корнем... Эх! Нельзя руке дать воли: боюсь, что много в письме зачеркнутых мест будет!

Знай, дорогой брат, знайте все вы, мои дорогие, что

---

[1] В подлиннике зачеркнуто «второго».

[2] В. И. Баранников, отставной капитан, служил в болгарской армии начальником артиллерийского склада в Рущуке.

[3] Далее зачеркнуто: «с жизнью для».

мысль о вас никогда не покидала меня, что имя ваше в минуту смерти будет на моих устах. Теперь я более чем когда-либо понимаю все величие родственных чувств. Да, это сила, которую игнорировать безнаказанно нельзя. И вот, перебирая в уме своем все то, что отныне остается навсегда позади меня: любовь к родине, к вам, к друзьям, и сознавая, что ничего этого нет уже впереди, что от всего этого остается только одно прекрасное воспоминание, я еще раз прихожу к убеждению, что смерть в настоящую минуту есть лучший выход из моего положения. Я живой человек, жить мечтой, воспоминанием, как бы прекрасно оно ни было, не могу; мне нужна действительная, реальная жизнь. Раз меня от нее отрывают — мое существование немыслимо: там осталась моя душа, моя любовь, мои симпатии и антипатии; здесь лишь один труп, обреченный на вечную пытку[1]. Необходимо скорее прекратить такое жалкое существование. Придите и вы к этому выводу, согласитесь со мной; неужели это невозможно?

Твой проект, брат, относительно перекочевки мамы и Маши в Болгарию мне очень, очень нравится. Бросьте вы эту помойную яму, этот мертвый город. Новая обстановка, новые люди вас несколько развлекут, помогут, может быть, перенести грядущее несчастье.

Жаль, конечно, оставлять. Надежду[2], жаль оставлять дорогую могилу отца, расставаться с местом, в котором прошли детство, юность... но так будет лучше, вам будет легче. Надежда же имеет уже новые привязанности, ей будет не так тяжело. Ах, мама, мама, дорогая моя, бедная, многострадальная мама! Сколько горя, сколько страданий выпало на ее долю. И я,— я должен прибавить еще одно новое, ужасное, быть может, самое ужасное из всех. Здесь, в Петербурге, такой факт, как смертная казнь, не так страшен; здесь, в этом муравейнике, такая масса всяких интересов, впечатлений, ощущений, что она проходит почти незаметной; о ней поговорят день-два да и забыли. Там же

---

[1] В подлиннике зачеркнуто: «тоску о прошлом».

[2] Сестра Баранникова, Надежда Ивановна, по мужу Якубович.

у вас, в глуши, она представляется каким-то чудовищем. Нет, это простая и сравнительно приятная смерть. Больной мучается в продолжение нескольких дней, недель, а то и месяцев; тут же все оканчивается быстро, моментально.

Быстро[1], невероятно быстро началась моя жизнь. Помню я, как меня мучила в детстве мысль, что я не успею пережить, переиспытать всего, всего. Теперь с полным правом могу сказать, что я испытал все. Вот мое детство с его религиозным фанатизмом; да, я был фанатиком. Особенно помню тот день, когда я, лет в 12—13, летом в нашем саду ожидал чуда. Я был уверен, что оно совершится, но... оно не совершилось. С 15—16 лет мою душу начала наполнять, а потом и всецело ею завладела другая страсть; не буду называть ее — вы знаете и так. С 16—17 лет я начал жить сознательной жизнью и до 23 лет, т.-е. до сего дня, прошел последовательно через все фазисы ее: юность, молодость, зрелый возраст и старость. Да, я теперь старик, если и не по годам, то по количеству пережитого.

Второе письмо к тебе, дорогой брат, к котором я сообщал некоторые факты из своей жизни, как я узнал, не отправлено: это противно правилам[2]. Но на суде завеса приподнимется, вы узнаете все. Но мне все-таки хотелось бы, чтобы после суда, когда все будет окончено, это письмо дошло до тебя — буду просить: в письме больше жизни, больше правды, чем может быть на суде.

Ты сегодня выезжаешь из ПБ. Письмо это я начал писать вчера, т. е. на другой день после свидания с тобой. Нашла на меня такая полоса, захотелось высказаться; сотни мыслей роились в голове, складывались в стройное целое. Но бумагу принесли[3] через несколько часов после того, как я ее потребовал; настроение прошло, мысли перепутались, здание превратилось в развалины,— вот причина, вследствие которой письмо мое представляет из себя такое столпотворение. Изви-

---

[1] В подлиннике перед словом «быстро» зачеркнуто «Да».
[2] После этих слов зачеркнуто: «Я постараюсь».
[3] Зачеркнуто: «мне».

ни за беспорядочность его.— Получил ли ты мою карточку? Ах, у меня не выходит из головы свидание с тобой. За что, за что все это? За что вы меня так любите?—Получила ли мое письмо мама? Отвечайте. Будьте счастливы, забудьте скорее меня. Живите, наслаждайтесь. Как это пошло, однако, выходит. Чувствую, что все эти пожелания дики, смешны. Но... скорей, скорей. С совершившимся фактом легче мириться. Прощайте, прощайте; целую вас всех, мои дорогие, мои милые. Мама, Надя, Маша, крепко вас прижимаю к своему сердцу. Целую Елиз. Петр., Викт. Александр., всех родных, поклон знакомым. Прощайте. Простите вашего Александра.

Во мне есть способность безошибочно определять важность, серьезность, прелесть переживаемой минуты. Когда я чувствовал, что счастливая минута приближается, я всегда мысленно произносил: «Это жизнь, пользуйся ею, извлекай из нее все, что в ней есть хорошего, не зевай, а то пройдет она и уж больше не вернется». Я в это время напрягал все свои силы, храбро шел на приступ и с бою брал то, что мне было нужно. Не даром, конечно, все это давалось, много крови приходилось портить, но тем больше счастья было, когда цель достигалась. В жизни своей я был искренен, любил все прекрасное; никогда с умыслом ни от чего хорошего не отворачивался, и не жалею об этом. Все стороны жизни мне теперь известны, все явления ее понятны, ничего таинственного в ней не осталось. Мне могут сказать, что это отвлекло меня от главного, от моей настоящей цели. Нет, тысячу раз нет, нет — при моей, по крайней мере, натуре; я должен был все знать, со всего срывать завесу, все видеть таким, каково оно в действительности. Теперь я могу, имею право говорить, что в жизни действительно прекрасного, прекрасного без белил и румян, без помощи куафера, и что́ только кажется прекрасным, а в действительности уродливо, безобразно.— Да, в своих поступках я был искренен, но это не значит, что я откровенен в разговорах. Очень, очень редко я открывал кому-нибудь свою душу; боялся я этих излияний: что, если впустишь туда постороннего человека, дашь ему перерыть все самые

сокровенные ее тайники, а он, перепортивши, переломавши их, равнодушно отвернется в сторону. Ух, от одной мысли об этом дрожь пробирает меня. Никогда, никогда! — Говорить в письме о всех столкновениях, встречах, которые были в моей жизни, к сожалению, неудобно. Скажу только, что много, много их было. Какая масса у меня везде знакомых, товарищей, приятелей, друзей (последних, впрочем, немного, но зато испытанных, верных). Между ними много и таких, которые никогда не знали и не узнают, что я за человек в действительности; они до конца жизни будут уверены, что имели дело с настоящим Ивановым, Николаевым... Другие, конечно, знали это. Да, я знаю, что многие пожалеют меня[1], а некоторые даже заплачут, услышавши о моем конце. Ах, эти слезы, слезы. Они мне опять напоминают наше последнее свидание. А сколько их, слез, еще впереди, боже мой, боже мой. Эх, жизнь, жизнь. За что ты наказываешь ни в чем неповинных людей? Карай тех, кто преступил твои законы, мучь, пытай, жги их огнем, но оставь в покое невинных. А ты поступаешь иногда как раз наоборот. Мучения и пытки достаются на долю именно этих несчастных. «Не прав твой, о небо, святой приговор».

Что, ты попрежнему поэт в душе? Здесь, в крепости, представь себе, и я возымел склонность к рифмоплетству; если бы была бумага, то наверное уже много листов было бы перемарано моими виршами, а без нее все это исчезает так же быстро, как и появляется. Но Лермонтов мне, говоря серьезно, очень, очень нравится; его «Демона» я знаю почти всего наизусть. Не кончи он так рано, в 26 лет, из него вышел бы не только великий поэт, но и великий гражданин. В моих глазах он стоит неизмеримо выше Пушкина. Но в сторону поэзию, не время ею заниматься.— Какими мы все рисуемся в глазах публики суровыми, жестокими; в нас не видят ничего человеческого; мы для нее кажемся кровожадными. О, боже мой, если бы они знали, сколько в этом столь ужасном человеке любви, как мало кровожадности, дикости. Загляните вы в его усиленно бью-

---

[1] Зачеркнуто: «многие».

щееся сердце, рассмотрите вы его душу. Но нет, не увидать им ее; диким и страшным сойдет он в ее глазах в могилу. Вы, мои милые, сохраните в сердце своем тот образ вашего Саши, какой имеется у вас в настоящую минуту; пусть это будет детский образ. Если бы была возможность, я бы излил вам свою душу, я бы объяснил вам все последующие поступки... но этой возможности нет, газета их не объяснит, она передаст только голый, сухой факт. Не делайте поэтому выводов из всего того, что там будут писать, помните своего старого сына, брата.— Прошло шесть лет с тех пор, как мы расстались; как нас обоих трепала за это время жизнь. Одного, проведя через массу страданий, огорчений, бросила далеко от родины, в страну, о которой он никогда и не помышлял, в Болгарию; другого — показавши ему все свои прелести, засадила в крепость и... скоро возведет на эшафот. Через шесть лет она снова свела нас на минуту с тем, чтобы мы простились навсегда, навеки. Какая злая насмешка, какая глупая шутка! Но мы, дорогой брат, не унываем, не правда ли? Мы смело смотрим ей в лицо и сами ядовито посмеиваемся: не проймешь, мол. Ха-ха-ха-ха-ха!.. Вспоминаю при этом Мефистофеля; нравится мне его смех. Ну, еще раз не унывайте, дорогие. Жизнь вырвала одного из вашей среды; сомкнитесь, станьте ближе друг к другу,— и вперед, в бой дружно, вместе, плечо к плечу, рука с рукой! Вас еще много, победа еще возможна. вырвите у судьбы счастье для себя и наслаждайтесь.

Прощайте, горячий вам всем привет.

Саша.

7

$18\ \frac{IV}{26}$ 81 г. Воскресенье.

25-ые числа имеют в моей жизни какое-то роковое значение: родился я 25 марта, из училища ушел 25 апреля, попался, наконец, 25 января. Для полноты картины следовало бы еще и умереть 25-го; посмотрим, может быть, так и случится. Число 666 означает Анти-

христ. Интересно было бы знать, что означает число 25[?] [зачеркнуто] относительно [зачеркнуто 12 строк]. Я по себе могу судить, как непрочны у нас семейные традиции. Вся история нашего отца, в особенности же его молодость, представляются для меня сплошной загадкой. Говорилось, помню, что-то о пребывании его в университете, поступлении в военную службу, о женитьбе, но так неясно, неопределенно, что все это в голове моей смешалось с другой историей, с историей дяди Алекс. Вас. А между тем жизнь их обоих была очень, кажется, интересна; отцу в особенности много пришлось испытать. Странное дело; не замечаешь ли ты поразительного сходства в судьбе двух поколений нашего семейства, в судьбе отцов и детей? У деда было четверо детей, два сына и две дочери. Старший сын после неопределенных порывов к чему-то, забрался сперва в Польшу, а потом юнкером на Кавказ, где и женился помимо воли своего отца. Младший, юноша 25—26 лет, стал жертвой злого недуга за несколько месяцев до окончания университетского курса. Дочери — одна, старшая, выйдя замуж, заняла в конце-концов блестящее положение в обществе; судьба другой, младшей, несколько скромнее (я, конечно, сужу с их точки зрения). Посмотрим теперь на нас. Нас тоже четверо: два брата и две сестры. Ты, старший, после порываний из училища на Кавказ (зачем — я до сих пор не знаю), забрался в Болгарию, где, опять-таки против воли родных, женился и пребываешь до сего дня. Я, младший, за год до получения офицерского чина, если и не делаюсь жертвой злого недуга (некоторые, впрочем, называют это болезнью), то во всяком случае исчезаю для вас навсегда. Надежда, мне кажется, пойдет по стопам Елиз. Вас., есть, по крайней мере, основания так думать, будущее же Маши еще не определилось.— Ну, не поразительно ли, в самом деле, это сходство! Конечно, как там, так и здесь не последнюю роль играет веяние времени, мотивы поступков часто не одни и те же, но остов, скелет остается все тот же. Чем это объяснить? Но что в настоящую минуту во всей этой истории меня больше всего беспокоит, так это боязнь, брат, за твое здоровье. Имей в виду, что и отец и дядя умерли от

чахотки; есть, значит, основание думать, что она питает весьма нежные чувства к мужской половине нашей семьи. Советую тебе обратить серьезное внимание на свою грудь: береженого, говорят, бог бережет; во время войны ты не раз, должно быть, простуживался. Елизавета Петровна, поручаю его вашей нежной заботливости, имейте в виду, что он прежде неглижировал, и очень сильно, своим здоровьем, но что сходит в 20—25 лет, то может не сойти в 30. Вы бы его показали хорошему доктору. (Глазу моего в данном случае не бойтесь: я три раза плюнул, значит ничего, беды не накличу). Одному я в вашем положении в данную минуту завидую,— это вашему местожительству. Дорого бы я теперь дал, чтобы хоть на один день попасть на юг, подышать его чудным воздухом, насладиться его дивной черной ночью, взглянуть на безбрежное море. Ничего этого в Петербурге до сих пор нет, да и не будет; все еще холодно, льет постоянный дождь. Скверно. Нева, впрочем, дня 4—5 назад сбросила с себя ледяной покров, пароходные свистки раздаются постоянно над ухом. Весна вообще, хотя и несмело, но заявляет о своем приближении. Но что это за весна: ничего освежающего, оживляющего не несет она.— В каком положении оставил ты родных, приготовил ли хоть сколько-нибудь их к грядущему событию? Что с ними? Согласились ли переехать в Рущук? Настаивай, пожалуйста. Елизавета Петровна ничего, надеюсь, против этого не имеет. Она с мамой и Машей, вероятно, будет ладить. Как в Путивле (зачеркнуто). Накануне казни буду писать тебе длинное письмо; тогда, вероятно, позволят быть более откровенным, а теперь нет; о *посторонних* вещах говорить нельзя. Не удивляйся поэтому, если письма мои будут коротки. Прощайте, целую вас всех.

Саша.

8

Копия 18 $\frac{V}{17}$ 81 г.

До сих пор все ожидал обещанного Надею письма, но или она его не написала, или оно не прошло через цензуру.— Исполнить вашу просьбу относительно же-

ны, к сожалению, не могу: кроме извещения о здоровье мне ни о чем другом писать не позволяют. Рискну, впрочем, сообщить, что роду она дворянского, довольно богатая помещица... Это, я знаю, для вас будет приятно.—Очень рад, что дочь [1] моя вам понравилась,—поручаю ее вашему общему вниманию. Спасибо, что вспоминаете обо мне. Нехорошо только делаете, что грустите, сокрушаетесь, а, может быть, даже и плачете. Берите пример с меня — и прочь слезы. Я здоров, весел, счастлив и доволен, наслаждаюсь наступившею, наконец, весною. Что Путивль и путивляне? Как идут полевые работы, каковы озимые хлеба? Не было ли у вас в прошлом году жука? Жив ли мой верный Милорд?

Новостей у меня, конечно, нет никаких, о своем деле ничего не знаю.— Здоровы ли вы все? Как мама, поправилась ли? Надежда, не собираешься ли ты в Рущук? Маша, когда уехал Василий? Ну, пора, однако, кончать. Письмо, состоящее из одних вопросов, я думаю, не особенно интересно. Прощайте. Целую вас всех [вырвано] Вик. Алек. Ваш *Александр.*

Как поживают наши соседи Терлецкие, Астанины и пр.? Лидии Павловне и Марии Павловне низкий поклон. Ты, Маша, продолжаешь все учительствовать? Мама начинает, вероятно, помышлять о вареньях: земляника ведь скоро уже поспеет. Но Надежда, Надежда, вот желал бы я ее видеть в роли хозяйки; не верится что-то в ее способности и охоту.

Пишите.

Не присылали ли вам моей карточки?

9

Получено в Рущуке 19 июня. $18\ \frac{VI}{8}$ 81 г. Понедельник.

Сегодня получил твое письмо, сегодня же и отвечаю. По моему счету это не четвертое твое письмо, а третье; одно, значит, где-нибудь застряло. Что делать — спрашивать не с кого.— Наконец-то ты в Болгарии. Доро-

[1] Александр Иванович называл своею дочкой дочь Василия Ивановича.

га, точно так же, как и самый Рущук, произвели на тебя, очевидно, сильное впечатление. Весь лист твоего письма наполнен описаниями прелестей румынской и болгарской природы. Красок ты, как видно, не жалела, а потому немудрено, что и картина, изображенная тобой, несколько неправдоподобна, слишком фантастична. Впрочем, спешу оговориться: это только на мой взгляд, а в таком деле, как природа, все зависит, конечно, от взгляда, от вкуса. Но, надо отдать тебе справедливость, картину свою ты изобразил искусно: при чтении твоего письма и у меня откуда-то из глубины начали выползать давно уже позабытые воспоминания, замелькали перед глазами горы, леса, моря и реки, много при этом вспомнилось, но... иллюзия продолжаться долго не могла, действительность напомнила о себе. Взявшись за перо, чтобы отвечать тебе, я снова невольно отдаюсь воспоминаниям. Да, хороши эти зеленые холмы, благодатное южное солнце не жалеет для них своих животворных лучей. Черное море и широкий Дунай изобильно наделяют их влагой; все здесь блестит, цветет и благоухает; вот знаменитая «Долина роз» (Гуинджи), эта краса Болгарии; над ней высоко поднимаются Балканы с своими зелеными вершинами; вон там, в скале, приютился древний болгарский монастырь; вон живописные развалины какого-то минарета; вот «Коссово поле», голубой лентой вьется Дунай... Но вся прелесть этой роскошной панорамы исчезает, стушевывается при одном воспоминании,—при воспоминании о тех потоках крови, о той груде костей, которые пошли на удобрение этого края. Эта блестящая панорама, говорю, говорю я, исчезает, когда ты, вслушавшись, разберешь в журчании ручья, в шуме леса, в плеске моря оставшиеся и замершие в воздухе стоны умирающих, крики детей, разлученных с матерями, безумный плач женщин, и стоны и вопли стоят над этой страной; села, города и деревни носят еще следы разрушения, дым от пожаров не успел еще рассеяться в воздухе... Когда вспомнишь все это, тогда вся эта чудная картина, как бы по мановению волшебного жезла, вдруг изменится; Дунай, вьющийся такой прелестной голубой лентой, превратится в кровавую реку; эти поэтические

горы покроются гниющими трупами; «Долина роз» потонет в крови, исчезнет в дыме; запах, несущийся оттуда, напомнит тебе о кладбище. Да, много горя и страданий выпало на долю этой несчастной страны, целые века рабства пришлось вынести ей на своих плечах.— Вот какие мысли невольно приходят в голову при воспоминании о Болгарии, Румынии, Черногории и пр. единоверных нам племенах. Грустные воспоминания.— Боже мой. Что же это я, однако, наделал? Ведь весь этот полулист будет, по всей вероятности, безжалостно оторван рукою цензора, ибо все, что я здесь ни говорю, совсем не относится к моему «здоровью», а, следовательно... Правда, здесь нет ничего о моем деле, но... Если такая судьба выпадет на долю этого полулиста, то во втором зато я буду сдержан. Итак, если этого пропустить нельзя, то прошу его оторвать и отправить один второй.

10

Просмотр. 8 Июнь.

Не удивляйся, Маша, если получишь только один полулист; это будет значить, что другой оторван, как неудобный по своему содержанию для отсылки. Одного полулиста я к вам до сих пор ни разу не отправлял; если вы таковой получили, так значит другую его половину оторвали помимо меня.— Я жив, здоров, чего и вам всем желаю. Дело наше будет в начале сентября; на этот раз сведение, кажется, верное. Следствие почти кончено.— Вася, ты меня все балуешь деньгами, я и то растранжирил их здесь уже сравнительно изрядную толику, а ты еще подбавляешь,— этак, я, пожалуй, и разжирею в тюрьме! — Надежда мне все еще не собралась отвечать, хотя я ей и отправил два письма. Неужели она серьезно заболела? Чего это ты, Вася, ездишь постоянно в Разград? Если бы ты не был женат, то можно было бы думать, что там находится предмет твоей страсти.— Ты [Маша][1] решилась-таки, наконец, расстаться с неудобозабываемым градом Путивлем — слава богу! Постарайтесь теперь вытащить оттуда и ма-

[1] По дальнейшему тексту видно, что пропущено имя Маши.

му. С неделю тому назад я отправил ей письмо; мне обещали в него вложить мою карточку,— не знаю, сделали ли это. Я ее отправил в Путивль, а не к вам, из опасения, чтобы она не запропастилась в дороге: больно до вас далеко. Наконец-то, Маша, ты узнала, что такое юг, южная природа. Северяне говорят, что только в мороз они и чувствуют бодрость, свежесть — меня это удивляет. Я развертываюсь только в 25—30 град. тепла; в мороз я делаюсь апатичным, неподвижным. О, юг, юг! Привет тебе от твоего верного сына, заброшенного силою обстоятельств на дальний, неприглядный, холодный север.— По поводу, Маша, твоей веры и надежды я возражать отказываюсь, ибо это было повторением в десятый раз одного и того же. Предупреждаю только, что тебе придется разочароваться...— Как поживает моя дочка[1], отчего ты о ней ничего мне не сообщаешь? Какое впечатление произвела на нее дорога. Много ли у вас знакомых что они за люди? Уладилось ли недоразумение между министерством и князем? Кто победил? Не жалеешь ли, Маша, о Путивле, не скучаешь ли о нем? Забудь его поскорее. Как поживает Елизавета Петровна? Не ожидала она, вероятно, никогда, что ей придется столько на своем веку поездить. Где находится теперь Алексей? — Жду [брат] от тебя письма с нетерпением. Ты опять принялся за свою скучную работу; береги свое здоровье. Извините за бессодержательность письма, но виноват, как вы знаете, не я: здоровье — тема небогатая, много не напишешь. Прощайте, целую вас всех. Если есть ваши карточки, то, пожалуйста, пришлите. После дела я их возвращу. Прощайте, целую крепко, ваш до гроба

Саша.

11

Просмотрено 28 июля
тов. прокурора [подпись].

18 $\frac{\text{VII}}{17}$ 81 г. Пятница.

Ваше последнее письмо получил 12 июня; по обыкновению отвечал в тот же день, но... ответ мой

[1] Дочь Василия Ив.

был возвращен. Снова берусь за перо, авось на этот раз буду «счастливее». Я нарочно напираю на последнее слово, так как все дело здесь [«счастье» — зачеркнуто] заключается именно в счастье. Объясняюсь: письма мои представляют из себя обыкновенно изрядный винегрет; в них я говорю и о себе, и о вас, и о посторонних лицах, в них можно найти и похвалу и порицание,— чего хочешь, одним словом, того и просишь. Когда такое письмо возвращается, я поневоле становлюсь втупик — что в нем лишнее, о чем говорить нельзя? Я твердо помню, что нельзя говорить о своем деле,— это я исполняю, и в моих письмах нет на него ни одного намека,— но какой тон должен я принимать, говоря напр., о тебе, брат,— этого я до сих пор не уразумел, да и вряд ли мне потрудятся это объяснить, а было бы очень желательно, хотя бы уж потому, что цензуре не приходилось бы тратить на чтение моих писем двойного времени. Ну довольно об этом: тебе ведь это неинтересно.

Я жив, здоров, весел, счастлив и доволен.— Сердечное спасибо за ваши письма.— Карточки своей, брат, не присылай, так как мне ее все равно не покажут; Надиной я не видел.

Весело ли провели барыни время в Варне?

Простите, обрываю на этом свое письмо, нет никакой охоты продолжать в таком духе дальше. Прощайте, целую вас.

Ваш навсегда *Александр.*

По этому письму не делайте заключения о моем настроении.

Повторяю снова: я счастлив, весел, доволен и ничто не испортит моего настроения.

Получено 4 августа 1881 г. Руас. Вероятно, пометка получателя — брата *В. Ф.*

12

10 августа 1881 г.

Просмотрено
Тов. прокурора [подпись]

Мой дорогой брат!

Ты ни на одну минуту, конечно, не останавливался на мысли, что я тебе не пишу; ты, несомненно, был

уверен, что не получаешь моих писем по каким-нибудь другим причинам, и ты, [зачеркнуто несколько слов] конечно, был прав. В период времени от 9 июня до сего дня послал тебе 4—5 писем. Объясняю себе эту странность (т. н. неполучение писем) почтовыми неисправностями, а потому пишу теперь сразу два письма: хоть одно из них да дойдет же наконец. Послал бы телеграмму или заказное письмо, но это сопряжено, вероятно, с такими хлопотами и проволочками, что не стоит и трудиться. От тебя я в июле получил 2 или 3 письма (одно было при письме Маши) и в августе тоже два, при чем письмо денежное, писанное 17 июля, попало в мои руки днем позже, чем другое, писанное 26 июля. Конверт денежного письма весь испещрен печатями, клеймами, русскими и французскими надписями, из коих одна меня немного даже удивила (зачеркнуто 3 строки). Во всяком случае за деньги шлю тебе благодарность, но при этом прошу от дальнейшей присылки воздержаться, ибо и этих на мой век хватит с избытком. Относительно же последнего письма (т. е. от 26 июля) должен сказать следующее: если бы я не знал наверное, что в продолжение двух месяцев ты не получал от меня ни строчки, то был бы уверен, что оно есть ответ на мое (от 14 июля), теперь же приходится только удивляться странному совпадению. Но чем ты меня больше всего обрадовал, так это своей карточкой. Надо заметить, что 8 августа мне наконец-таки показали давно уже присланные карточки Нади и В. А., а 9-го я увидел и твою. Долго, долго вглядывался я в эти черты, порой даже забывал, что это только изображения: мне казалось, что губы твои готовы зашевелиться и произнести слово, что глаза твои, и без этого такие грустные, готовы заплакать... Вообще карточка твоя поразительно живо воспроизвела передо мною сцену 5—6 апреля, сцену нашего прощания. Не могу того же сказать о Наде. Шестилетняя разлука произвела-таки свое действие: несмотря на все усилия, я по карточке мог составить лишь самое неясное, туманное представление о ее физиономии, и, что страннее всего, В. А. гораздо живее рисуется мне в моем воображении, чем она. Надо заметить, впрочем, что ее карточка очень неудачна, а слишком пышный

головной убор сильно ее меняет. В конце-концов я прикрыл его, прикрыл также и нижнюю часть до подбородка, и только тогда получилось нечто согласное с моими воспоминаниями. У вас обоих прекрасно вышли глаза, и они-то мне больше всего помогли при воспроизведении ваших физиономий. Спасибо, спасибо тебе, дорогой мой, спасибо за все. В своих письмах будь, Basil, осмотрительнее в выражениях, а то неправильно понятые и перетолкованные, они могут послужить матерьялом для составления о тебе совершенно несогласного с действительностью представления. Положим, что твои жирные эполеты и увешанная орденами грудь служат лучшими доказательствами-гарантиями от всяких подозрений, но из-за этих выражений могут не пропускать ко мне твоих писем, хотя, как кажется, до сих пор этого и не было. Я ничего не говорю тебе по поводу твоих жалоб и недовольства потому, что делал не один опыт и всякий раз терпел фиаско.— По поводу твоего желания иметь мою карточку, да еще и кабинетную, я, к сожалению, должен сказать, что об этом нечего и думать: сняться мне, без всякого сомнения, не позволят, а из имеющихся уже, несмотря на мои просьбы, не посылают.— Как поживают барыни? Что говорит по поводу всех виденных и слышанных на дороге и в Болгарии чудес Маша? Да, много нового пришлось ей увидеть за это время. Надеюсь, о Путивле она не скучает. Когда, кстати, отправляется она в родные палестины? Отчего, несмотря на свое обещание, не писала мне из Варны? Скажи Ел. Петр., что дня 3 тому назад я ее видел во сне при самой благоприятной для нее обстановке,— значит к счастью. Что сделалось с Надей, отчего она мне не пишет? С 17 июня я не получаю от нее ни слова. Сделай ей, пожалуйста, хороший нагоняй. Все ли у них там благополучно? Как поживает [зачеркнуто две строки] прислал бы и подарочек, да нет, к сожалению, возможности.

Погода в Питере с 1 июля отвратительная, гнилая, теперь уже стоит осень во всем своем безобразии. О себе много говорить не буду—жив, здоров, чего и вам желаю,— вот и все. Нет, не шутя, я совершенно

здоров и прошу тебя, дорогой мой, не беспокоиться обо мне так, как беспокоишься ты; ну на что это похоже! К чему такое отчаяние? В 30 лет это даже и неприлично. Довольно, однако. Всех вас целую, всем вам шлю тысячи пожеланий, благодарностей за память и пр., и пр. Прощайте, еще один, один последний поцелуй.

А. Баранников.

Считал, сколько ты на меня истратил уже денег,— выходит очень много; одна поездка во что тебе обошлась.

13.

[Пометка товарища прокурора. Подпись неразборчива]

20 августа 1881 г.

Письмо это вы получите недели через 2—2½; я стараюсь приноровить его к 5 сентября, но не взыщите, если почему-либо получите его раньше (мало вероятно) или позже (это вероятнее). Стараюсь же приноровить его к 5 сентября потому, что это,— твердо помню до сих пор,— день вашего, Елизавета Петровна, ангела. Итак, получите мои искренние поздравления, сердечные пожелания и пр., и пр., и пр. Извините, что этим и ограничиваюсь, но преподнести вам букет цветов (я предпочитал всегда приносить и присылать барыням в такие дни не конфеты, как делают некоторые, а цветы), к великому моему сожалению, не позволяют обстоятельства. Надеюсь, господа, что 30 августа у вас будет пирог и что за обеденным столом, откупорив бутылку шипучей влаги, вы обо мне вспомните,— мысль об этом будет служить приправой к моему скромному тюремному обеду и заменит отчасти бокал янтарной жидкости, который я выпил бы вместе с вами, если бы etc, etc, etc.

Буду на этот раз краток и ограничусь поздравлением, дабы в письме моем не проскользнуло какой-нибудь нецензурной нотки. 10 августа я отправил вам сразу два письма; на-днях вы их, вероятно, получите. Собирается ли Маша домой? Пусть сделает строгий выговор Наде за ее упорное молчание.— На всякий

случай извещу тебя, дорогой Basil, еще раз, что деньги и карточку я получил. Спасибо. Прощай, целую вас всех.

Ваш *Александр Баранников.*

Какая ужасная погода. Счастливые, у вас все еще лето.

14

27 августа 1881 г.

Просмотрено тов. прокурора [подпись].

[Получено 7 сентября].

Ваше общее письмо от 13 августа я получил дня три тому назад; не отвечал в тот же день, как привык это делать всегда, только потому, что за два дня перед тем отправил вам сразу два письма. Опасение наскучить, наконец (не вам, конечно), своими письмами заставляет меня сдерживать несколько свое желание беседовать с вами ежедневно. Из этого вы видите, что сделанный вами упрек мне за молчание несправедлив. Странное впечатление произвело на меня ваше, господа, письмо. Конечно, я глубоко благодарен вам за те чувства, которыми проникнуто в нем каждое слово, но зачем же так фантазировать, к чему такая непозволительная мечтательность. Перед вашими глазами рисуется неприятная картина, и вы, чтобы прогнать ее, настраиваете свое воображение и насильно, вопреки действительности, заставляете его рисовать другое, не столь мрачное или даже совсем розовое будущее. Барыням это еще извинительно: женские натуры вообще легко (легче) впадают в крайности, но тебе, мой брат, при твоих 30 годах, право, не следовало бы этим заниматься. Ты подумай только, что за картину ты изобразил: в счастливой Болгарии живет одно счастливое семейство; старший брат по утрам занимается делами, младший ему помогает, а женщины в это время хозяйничают Затем, потрудившись, сытно пообедав и отдохнув, они, когда спадет немного дневной жар, приказывают заложить коляску, едут в сады, расположенные близ Дуная, и наслаждаются там свежим воздухом, южными фруктами, прекрасными видами и приятными раз-

говорами... Такая, знаешь ли, выходит Аркадия, что и умирать не захочется!

Брось, брат, не раздражай напрасно своего все еще, как оказывается, юношеского воображения. В твоем письме есть два-три замечания, навеянных другими картинами, остановись на них: в них — правда. Они ближе к действительности. Помни мои слова, сказанные при нашем свидании. А супруга-то твоя! Та прямо говорит обо всем этом, как о чем-то решенном и подписанном. О, мои милые мечтатели... Чтобы не зарапортоваться на эту тему, прекращаю. Твоего письма, Машурка, из Варны я не получил, оно, вероятно, затерялось на почте.

17 сентября поцелуйте Соню горячее обыкновенного и скажите, что этот поцелуй шлет ей из дальнего Питера ее отец ко дню ее ангела [1].

Радуюсь, барыни, что море произвело на вас такое благотворное действие. Было время, когда и я погружался в его волны,— хорошо! — По поводу твоей просьбы, mon frère, писать о своем прошлом, скажу, что делал неоднократно попытки, но они ни к чему не вели, письма возвращались. Все узнаешь до мельчайших, вероятно, подробностей (фактическую сторону) из процесса.— Деньги, как я уже писал, получил, карточку тоже, за все это спасибо. Денег больше не присылай. Ну, кажется, все. Надя упорно молчит. Еще раз спасибо вам за ваше коллективное письмо, но только не фантазируйте. Целую вас всех горячо.

Ваш *Саша.*

Почему это пишут Roustchouk, а не «Routchouk». Ведь tch — щ., s — лишний.

15

Просмотрено.
Тов. прокурора [подпись]

6 сентября 1881 г.

Твое письмо от 21 августа я получил 31-го. Спасибо за поздравление. Не отвечал до сих пор потому, что между 20—30 числами отправил тебе 3 или 4 письма

и, по простоте своей, думал, что они дойдут по назначению. Но со вчерашнего дня начал в этом разочаровываться.— Вчера, 5 сентября [зачеркнуто], первое из посланных за это время писем (от 20 августа) было возвращено обратно. Я останавливаюсь на этом обстоятельстве дольше, чем оно заслуживает (дело ведь привычное, не в 1-й раз), потому что в этом письме заключалось поздравление Елиз. Петр. со днем ее ангела. Вместо того, чтобы к 5 сентября быть ему у вас, оно именно в это число попало ко мне,— какое странное совпадение, не правда ли. Итак, вот объяснение моей невежливости. Буду ждать теперь возвращения других последующих своих писем; жаль только, что слишком поздно приходится узнавать о их судьбе. Формула — «лучше поздно, чем никогда» — мне не особенно нравится, я не всегда с ней согласен, но в данном случае последую ее совету и возобновлю свои поздравления. Примите, Елиз. Петр., эти запоздалые,— не по моей, как вы видели, вине,— но не ставшие от этого менее искренними, пожелания вам всех земных благ. Опускаю при этом несколько шутливых замечаний, которыми сопровождалось предыдущее поздравление, по очень понятной причине: из-за них-то, вероятно (если не по недоразумению), и возвращено мое письмо.

Ну, довольно, дело, кажется, выяснилось, и свой гнев, если только вы рассердились, прошу сменить на милость.

О чем еще вам написать? Куда ни обращу свой взор, везде вижу слово «нельзя». Буду поэтому играть на единственной струне, оставшейся, как кажется, в моем распоряжении: буду говорить о здоровье. Теперь, когда осталось так немного досуга, я могу быть вполне откровенным. Чахотка, как вам известно, болезнь наследственная (часто бывает таковой). Я родился в то время, когда наш отец уже страдал этой болезнью; неудивительно поэтому, что и я с малых лет получил наклонность к ней; мой образ жизни помог, конечно,— но только помог, а не был причиной,— ее развитию, так что теперь все признаки болезни налицо (относительно, впрочем, румянца не знаю, но, вероятно, и он появился). Итак, господа, вы видите, что смерть уже

давно, с самой минуты рождения, отметила меня, как свою раннюю жертву; нечего поэтому сожалеть о том, что обстоятельства сократят немного (очень немного) этот срок. Ты, брат, я надеюсь, от этой болезни застрахован, так как родился еще в то время, когда отец был здоров; заботы же и попечения твоей милой супруги так, вероятно, нежны, что далеко отгонят от вашего домашнего очага эту непрошенную гостью, если бы она даже и вздумала к вам постучаться.— Живите, дорогие мои, живите все подольше и вспоминайте иногда вашего Сандро.

[гент.].

Я уже в одном из предыдущих писем просил 17-го поцеловать покрепче Соню и сказать, что этот поцелуй прислан ей из Питера,— на всякий случай повторяю еще раз.— Маша, ты 1 октября собираешься ехать в Путивль. Поручаю тебе заботы о маме; помни, что она не должна знать обо мне ничего кроме того, что знает. Это такой случай, в котором позволительно будет употребить и ложь. Постарайся, чтобы болтливость соседей не открыла ей действительности. Болезнь моя, как вам известно, никаких почти физических страданий не причиняет; душевно же я с каждым днем становлюсь все здоровее и здоровее. Суда ожидаю с таким же нетерпением, с каким влюбленный ожидает первого свидания. Погода, хотя и холодная, но светлая и ясная, как нельзя больше гармонирует с моим душевным настроением (не мешало бы ей быть немного теплее). Прощайте, дорогие мои, не горюйте, не плачьте. Целую вас всех горячо, надеюсь написать еще раза два.

Ваш *А. Баранников.*

16

1881 г. 23 сентября.

Только-что получил письмо от Нади и нахожусь еще под впечатлением тех грустных сведений, которые она сообщает: она больна и больна очень серьезно, ей приходит даже в голову мысль о чахотке, но я не хочу этому верить и думаю, что она преувеличивает опасность. Во всяком случае продолжительность и упор-

ство болезни свидетельствуют, повторяю снова, о ее серьезности. Как расклеивается однако наша семья...

Твое письмо получил 21-го числа. В нем ты оправдываешься от обвинения в мечтательности; но, знаешь ли, эти оправдания служат новым и еще лучшим доказательством моих слов; все твое послание наполнено выражениями вроде: метать краски, идея картины, кисть художника etc., выражениями, которые ясно говорят, что автор их художник, а ведь известно, что художники да поэты первые мечтатели в мире.

Мое письмо от 6 сентября (в котором я объясняю, между прочим, почему не прошло мое поздравление) показалось, может быть, вам слишком неожиданным, вы, может быть, не были достаточно подготовлены к тем сведениям, какие в нем заключались... Если так, то случилось это не по моей вине; если бы вы получили все мои письма, то известие о моей болезни вас не удивило бы; в переписке с вами я старался (между прочим) постепенно разрушить то непрочное здание, на которое вы обратили свои взоры и которое — увы — называется неосновательной надеждой. Я с умыслом берег его до самого конца, имел его всегда в виду, как переход от ваших надежд к действительности. Со дня получения этого известия до дня приговора у вас будет время к нему приготовиться, он будет для вас уже менее страшен. Аминь. По поводу ваших воспоминаний обо мне, воспоминаний, относящихся исключительно к моему детству, я много думал. Действительно, вы не имеете никакого представления о том, что я есть за человек в настоящее время. Мы встречались — и то не каждый год — летом на 1, на 1½ месяца, но разница в летах не позволяла нам близко, дружески сходиться; в то время, когда я думал об игре в мяч, тебе было уже 20—22 года. Надя была тоже старше меня, Маша же, напротив, моложе, а ведь в те годы человек живет быстро и небольшая разница много значит. Ко всему этому нужно еще присоединить 6-летнюю разлуку, в продолжение которой вы считали меня уже несуществующим, в продолжение которой мысль, воспоминания обо мне начали естественно сглаживаться. Что же связывает нас в настоящее время такими крепкими не-

рызрывными узами, где разгадка того душевного волнения, тех радостей и страданий, какими сопровождается воспоминание о вас? Родство, кровь, больше я по крайней мере ничего не могу придумать. Да, это сила, сила, с которой нужно считаться, которой нельзя совершенно игнорировать.

Ну, не идет у меня что-то сегодня письмо, это болезнь Нади меня расстроила.

Песня, часть которой ты приводишь в своем письме, напомнила мне другую — Кольцова:

Жизнь, зачем ты собой соблазняешь меня,
Почти век я прожил никого не любя...
Только тешилась мной злая ведьма-судьба.
Только силу мою сокрушала борьба.
Только зимней порой меня холод знобил,
Только волос седой мои кудри развил,
Да румянец лица печаль рано свела,
Да морщины на нем ядом слез провела...[1].

Мне от души жаль таких людей; эта вечная тоска, эти вечные жалобы на судьбу, на обстоятельства, на среду происходят единственно вследствие их собственной неприспособленности, вследствие их неуменья взять эту самую судьбу за чуб. Люди сами виноваты, а потом жалуются на неудавшуюся жизнь. Слава богу, я не принадлежу к их числу.

Целую вас всех. Прощайте. Ваш *Сандро.*

Ты спрашиваешь, что я читаю. В последние 3 месяца занят исключительно историей, прочел «Историю XVIII века» Шлоссера, «Историю XIX в.» Гервинуса (к сожалению, есть только 2-й том), его же «Введение в историю XIX в.», Маколея «Расск. из ист. Англии», Дрэпер «История умственного развития Европы».

17.

Копия
23 сентября 1881 г.

Спасибо, дорогая, за поздравление, благодарю Машу.

Надя, дорогая моя, ненаглядная, что с тобой, радость моя, делается? Напугала ты меня своим письмом

[1] Барапников стихи написаны в строчку, как текст.

до смерти. Какие ветры нанесли на тебя, с чего привязалась к тебе эта ужасная болезнь?.. Да нет, не может быть, это твое расстроенное прошлым нездоровьем воображение пугает тебя, рисует картину более мрачную, чем она есть в действительности. Ободрись, дорогая моя, отбрось эти ужасные мысли о чахотке, помни, что излишняя мнительность может и в самом деле ее накликать. Не то же ли у тебя самое, что было и у мамы? У нее ведь также и грудь и бок болели, но, как видишь, все это теперь прошло, и если она и не может похвалиться здоровьем, то это уже происходит от других причин, это результат тех нравственных, душевных мук, какие ей пришлось пережить и, к несчастью, приходится до сих пор переживать. Из всего того, что я сказал, конечно, вовсе не следует, что тебе не нужно лечиться, не нужно беречь себя. Напротив, я настаиваю на том, чтобы ты непременно строго исполняла все то, что тебе советовали доктора. Твой муж, конечно, не постеснится никакими расходами, какие потребовались бы для твоего лечения. Тебе, по всей вероятности, говорили в Киеве о поездке на воды или в Крым на виноград. Если да, то мой совет, как человека бывалого и видевшего всякие виды, ехать тебе именно в Крым. Это будет действительно дорого, но зато живительный воздух Южного берега этой благодатной страны в 2—3 месяца поставят тебя на ноги и ты станешь здоровее, чем когда бы то ни было. Если поедешь зимой, жизнь там обойдется значительно дешевле
в таком случае

[вырвано]

Ск ячку ее; нее
и не ужасайся расстояний. Ах, если бы можно было мне передать тебе все свое здоровье: у меня его так много и так оно мне мало теперь нужно. Еще один совет: во время болезни дай себе слово не читать газет. Вик. Алек. пусть за этим наблюдает. Что мне больше всего во всей этой истории не нравится, так это твое настроение. Помилуй, в последнем твоем письме такое отчаяние, такая безнадежность, ты так легко относишься к мысли о смерти, что, право, я в недоумении.

О, если бы я мог знать всю интимную сторону твоей жизни, открыть источник этого индиферентизма! Ведь в своей семейной жизни ты счастлива, что же заставляет тебя с таким ледяным спокойствием говорить о путешествии

[вырвано]

любить ее не в нее счастливых хороших минут. Нет, моя светлая Надежда, живи, освещай своим ярким лучом тяжелую, полную горя и страданий жизнь нашей матери. На тебе теперь по преимуществу сосредоточена ее любовь, ее гордость. Что же будет с ней, если тебя не станет.— Я жив, здоров, был весел и счастлив, но твое письмо смутило мой покой. Других сведений о себе не сообщаю, потому что сам ничего не знаю. Воображаю, как страдает бедная мама. Получила ли она мое письмо к 5 сентября? Целую ее крепко, горячо. Сегодня же пишу брату. Маша 1 октября собиралась выезжать.—А Путивль прогрессирует: и прогимназия, и клуб. Всю зиму, значит, путивляне будут плясать — желаю вам успеха. Мой поклон Вик. Алек. (получил ли он мой ответ?) и всем родным и знакомым.

Твой вечно *Сандро.*

18

[Получено 17 октября.]

2 октября 1881 г.

Письмо твое от 15—17 сентября получил 1 октября. Уже величина его меня несколько удивила, но как же я был поражен, когда познакомился с содержанием его. Как такое письмо, с такими сведениями и пропустили. Уж не ошибка ли это? [вычеркнуто шесть строк].

Немало также поломал я голову (как, однако, я ужасно пишу. Только тем и утешаю себя, что и Пушкин тоже плохо писал) над загадочной историей с моим письмом от 20 августа. Мое предположение, что оно не было отправлено только по ошибке, как кажется, небезосновательно. Но довольно, однако, об этих пустяках, перехожу к твоему письму: этот листик так мал, а сказать хотелось бы так много. У меня нет перед

собой твоего письма, поэтому за последовательность не ручаюсь. Начну с того, о чем мне не хотелось бы говорить, но ты поднял вопрос, я, следовательно, должен ответить,— о неприятной истории, происшедшей между нами 6—7 лет тому назад. Неужели ты, голубчик мой, не забыл еще этого глупого происшествия, неужели ты придал, да и до сих пор придаешь, значение этой мальчишеской с моей стороны выходке? Я и теперь еще слегка краснею за себя, вспоминая о ней. Но ведь мне было тогда 16 лет, вот единственное обстоятельство, какое я могу привести в свою защиту. Прими его во внимание и прости твоего не в меру, может быть, горячего братишку. Ты сообщаешь мне, что скоро суд; да, по всем видимостям, скоро, я ожидаю со дня на день (с величайшим нетерпением) извещения об этом. Я прекрасно понимаю, конечно, ваше состояние: неопределенное и томительное, ваши надежды, то потухающие, то вновь разгорающиеся, ваш ужас перед тем чудовищем, которое скрывается за занавесью, и вместе с тем инстинктивное желание положить скорее конец, поднять занавес и узнать, как называется это чудовище... Все это я понимаю и потому-то именно так старался, как при свидании с тобой, так и в переписке, по возможности ясно произнести имя этого чудовища. Мне удалось это лишь отчасти. «Надежда, как потухающий луч солнца, все еще блестит передо мной», пишешь ты. Подождите, значит, пока солнце не скроется окончательно за горизонтом и... совершившийся факт не погасит последних слабых лучей его. Мое положение в этом отношении лучше, определеннее. Замечу вообще (кстати), что вы совсем не представляете себе жизни арестанта вообще, т. е. в данном случае моей. Не количество и сила впечатлений, а полное их отсутствие — вот наше горе. Оттого-то я и жду суда с таким нетерпением, оттого-то (отчасти) и самый конец не представляется для меня ужасным,— в это время я буду жить, мозг снова будет работать, глаза снова будут видеть, уши слышать... и все это не во сне, а наяву, в действительности. Воспоминания, и только воспоминания, как бы живо они ни сохранились, не могут удовлетворять человека, их нужно подновлять; жи-

зни, настоящей жизни с ее радостями и страданиями, с ее бурями и непогодой,— вот чего жаждет душа, вот что позади, что еще раз мелькает передо мной... А там тьма, вечная тьма, или, как выражаются философы, небытие. Однако я забрался в такие дебри, из которых нужно поскорее выбраться. Решение вопросов, что такое бытие и небытие, предоставляю другим.— Снова, как и прежде делал, закончу эту часть письма утешением, заранее, впрочем, зная, что в нем мало толку, а потому и не буду на нем долго останавливаться. Дальше, вперед. Наша семья. Во-1-х — мама. Тяжела, полна горя и страданий была ее жизнь; мало светлых дней выпало на ее долю; тем не менее впереди уже собрались новые тучи и готовы излить на ее голову новые беды. Вынесет ли она,— вот вопрос, который не дает мне теперь покоя. Болезнь Нади (ты, вероятно, знаешь уже причину ее молчания), соединившись с моей историей,— два такие удара, что невольно начинаешь за нее бояться. Старайся, брат, доставлять ей при каждом удобном случае по возможности больше удовольствий, радостей. Ей ведь так немного нужно. Забудь об отношении ее к твоей женитьбе — оно для нее извинительно. Твоя будущность кажется мне наиболее определившейся. Ты женат, любишь свою жену, имеешь необходимые средства для существования... вот внешняя сторона твоей жизни. Конечно, тысячи комбинаций могут произойти и при такой обстановке, но, имея в виду обыденное течение дел, можно предсказать, что ты еще несколько лет (10, напр.) прослужишь, выйдешь потом в отставку и тихо, спокойно проживешь остаток своей жизни в каком-нибудь Путивле. Мой совет: не забирайся туда слишком рано и вместе с летами не принимай, пожалуйста, вида солидного путивльского обывателя. Оставайся всегда вечно юным, каким ты сумел, кажется, сохраниться до сих пор. Надя, Надя, как я боюсь за нее! Состояние ее здоровья внушает самые серьезные опасения. Что, если у нее в самом деле чахотка? О, как бы мне хотелось знать ее домашнюю жизнь... Машурка, вся твоя жизнь еще впереди. Не прозевай ее, умей ловить, угадывать приближающуюся минуту счастья и,

поймавши, крепче держи ее в руках, чтобы не убежала. Эх, жаль, мало я тебя знаю, птенцами желторотыми оба мы были еще, когда расставались. За Елиз. Петр. я тоже не боюсь, ее жизнь потечет ровно и спокойно, т. е. счастливо, так как все вы счастье понимаете именно в этом смысле. Итак, мира, тишины и спокойствия всем вам желает захотевший и добившийся иной доли

ваш брат, ваш друг *Саша.*

Первый номер в газете, в котором будет мое дело, ты получишь уже тогда, когда приговор будет произнесен и...

Целую всех вас. Ваш *Сандро.*

19

Просмотр. прокур. надз.
[Получено около 4 ноября 81 г.]

25 октября 1881 г.

Дорогой брат!

И обрадовало, и удивило, и немного позлило меня твое письмо. Порадовала меня та нежная, поистине братская любовь и заботливость, которые сквозят в каждом его слове; твои вопросы о состоянии моего платья и белья просто привели меня в умиление (с 20 апреля у нас все казенное); ты интересуешься даже температурой моей кельи (очень, замечу между прочим, низкой), предлагаешь постоянно деньги, беспокоишься о том, как бы я не остался без табаку и пр. Удивило меня известие, что дело наше будет разбираться негласно (хотя 4 строчки и были здесь зачеркнуты, но по предыдущему и последующему я догадался, в чем дело)... понятно, конечно, почему меня это удивило... Впрочем, по этому поводу лучше не распространяться... Немного позлило, наконец, твое совершенно непонятное для меня упорство, твои все еще продолжающиеся надежды. Тон твоего предыдущего письма был гораздо лучше, смелее; там ты, повидимому, примирялся с мыслью о вечной разлуке со мной, здесь же снова встречаю вопрос, на который отвечал много раз, но который ты все еще продолжаешь задавать,— вопрос о приго-

воре. Ответ мой все тот же: приговор будет желательный для меня, страшный для вас; прибавлю по обыкновению, что напрасно увлекает вас перспектива пожизненного заточения: оно хуже эшафота... (Какие, однако, ужасные слова встречаются в наших письмах: казнь, эшафот, вечная каторга, рудники и пр... Думали ли мы, ну хоть 10 лет тому назад, об этом?.. Сколько воды с тех пор утекло...). Не делай поэтому глупостей и не присылай мне нескольких сот рублей, так как они мне не понадобятся, да и вообще присылать денег не следовало бы: немного у меня, вероятно, еще есть, на папиросы (табаку нам почему-то покупать не позволяют, а между тем это было бы и лучше и дешевле), недели на две хватит, а за это время должен же быть, наконец, и без того уже сильно запоздавший суд. Эта месячная отсрочка ничего мне, кроме убытков, не принесла; в ожидании суда, не желая оставлять после себя наследство, я старался покончить с своими деньгами и тратил их на разные глупости, и потому они вышли у меня скорее, чем следовало бы. За 8—10 руб. в месяц тут можно иметь ежедневно и чай, и белый хлеб, и папиросы. Твое последнее письмо от 7—8 октября я получил 17-го вечером (замечательно быстро), но в этот же день утром отправил тебе свое, так что они немного разошлись. Вот причина, почему я не отвечал немедленно. Распотешила меня история с Алексеем. Какой ловелас из него вышел! Странно подумать и представить себе Алешу, о котором я привык вспоминать как о маленьком мальчике, женихом, сокрушителем женских сердец. Это так же странно, как и то, что другой маленький мальчик, бывший по крайней мере недавно таковым,— Саша, в настоящее время женатый человек, политический преступник и пр... Чудны дела твои, господи.

Путь, который Маша избрала, а вы одобрили, для возвращения в Путивль, мне совсем не понравился. Черное море в осеннее время для непривыкшего к морской качке человека есть сущий ад; два дня, которые ей придется провести на пароходе, покажутся ей целой вечностью. Я, человек прошедший через огонь, воду и медные трубы (в буквальном смысле), и то чувствовал себя очень и очень нехорошо, когда, в это же прибли-

зительно время, года 2 или 3 тому назад носился по его бурной поверхности. До сих пор вспоминаю я смешные сцены, происходившие в общей зале во время обеда. За стол садились обыкновенно все, но к концу обеда оставалось только 2—3 человека; неприятные звуки, доносившиеся в столовую, говорили, почему большинство отказалось от обеда.

От Нади с 23 сентября известий не получаю,— что-то с ней, голубушкой, делается? Эх, как это скверно, что она заболела. Настаивай, пожалуйста, чтобы она лечилась...

Твоей просьбы мне, конечно, исполнить не позволят: если суд будет негласным для публики, для посторонних, то он должен быть негласным и для вас, для родных подсудимых,— следовательно, изложить тебе письменно суть моего дела я не обещаю... Приговор, впрочем, я думаю, все-таки в газетах будет...

Считаю своим долгом, дорогой мой брат, сказать тебе искреннее спасибо за все, за все твои беспокойства, заботы обо мне. Приятно быть уверенному, что где-то там, за тысячи верст, есть люди, которые вспоминают о тебе, которые будут вспоминать и после твоей смерти. Я вообще избалован относительно личных привязанностей; но в настоящее время, когда вокруг меня все чужие лица, отсутствие их (личных привязанностей, а не чужих лиц) заставляет все более и более уходить в себя, сосредоточиваться, закупориваться, а это для моей открытой, привыкшей жить нараспашку натуры, ох, как неприятно. Аминь. Кажется все. Ел. Петр. мой братский поцелуй.

Прощайте.— В Петербурге зима, снег, морозы. Досадно, отчего теперь не июнь месяц или отчего Питер не в Египте.— Прощайте, целую вас, горячо

Любящий вас брат Сандро.

20

Просмотр. прокурор. надзором.

[Получено 24 ноября 81 г]. 8 ноября 1881 г.

10 часов утра; в каземате моем царствует таинственный полумрак; всюду мертвая тишина, которую изред-

ка только нарушают звонко раздающиеся по каменным плитам шаги моего соскучившегося сторожа, оставившего на время свое неудобное сиденье, да завыванья не на шутку разгулявшегося в последние два дня ветра, грозящего, судя по пушечным выстрелам, затопить Петербург... вот и все звуки, достигающие моего слуха, вот почти все впечатления, воспринимаемые моим ухом. Зрение обижено еще больше: за исключением нескольких человек унтер-офицеров, присматривающих за мной (с сонными, недовольными обыкновенно лицами), я не вижу обсолютно никого и ничего... Но хуже всего это то, что за эти 9 месяцев (9 месяцев уже...) я совершенно разучился говорить; положим, что и прежде я не отличался даром слова, но все же кое-как да умел выражать свои мысли, теперь же на суде придется отделываться короткими «да» или «нет» — это неприятно. До бесконечности можно было бы продолжать перечисление неприятных сторон моей теперешней так называемой жизни... но, несмотря на все это, бодрость еще не оставляет, да и не оставит, надеюсь, меня до конца, тем более, что конец этот во всяком случае недолеко.

Понятно из всего предыдущего становится, с каким нетерпением я его ожидаю. Не обращайте внимания на преобладание черных красок в моей картине: я изобразил только внешность, обстановку и ни слова пока не сказал о влиянии ее на нашу психику. В жизни часто приходится удивляться тому, что известные причины, которые,— судя a priori, должны были бы вызвать известные, определенные последствия, на самом деле влекут за собой нечто совершенно неожиданное. Неприглядная обстановка, которую я изобразил выше, повидимому, должна была бы произвести самое угнетающее, тяжелое впечатление на мою душу, на самом же деле вышло нечто совершенно другое. Признаюсь, перед концом нужно быть откровенным: первые два и даже три месяца мне было скверно, тяжело (не буду распространяться относительно других причин), отчасти причиной тому было свидание с вами, мои дорогие; но чем дальше, тем все больше и больше освобождался я от этих гнетущих влияний; в сущности они, пожалуй, и не ослабели, их

абсолютная величина осталась, может быть, та же, но за это время развились силы, им противодействующие, явилось сопротивление, борьба, в результате, следовательно, получилась уже не подавленность и угнетение, как прежде, когда действовала преимущественно одна сила, а нечто другое, чему не подыщу сейчас подходящего выражения... Но довольно на эту тему; сказанного достаточно для того, чтобы видели, насколько удовлетворительно мое настроение... пока, но скверно будет, если положение это продолжится, помилуй бог, еще некоторое время... Хорошенького, говорят, понемножку, ибо и оно надоедает.

Все чаще и чаще в последнее время стал я вспоминать о своем детстве, но, как ни напрягаю память, ничего хорошего в нем найти не могу. Все воспоминания вертятся преимущественно около бабок, мячика и солдатиков, особенно памятны солдатики. Как сейчас помню свой плаксивый тон, когда я обращался к тебе с просьбой нарисовать солдатика: «Вася, нарисуй солдатика!» — «После!» — отвечаешь ты.— «Нет, сейчас!» — тяну я все тем же плаксивым голосом. Из-за этого у нас возникали обыкновенно серьезнейшие неприятности... И подобными воспоминаниями некоторые восхищаются, не могут подумать о них без умиления. Нет, ничего хорошего не вижу я в раннем детстве. Совсем другое впечатление оставила юность, время лет этак с 13½ и до 17-ти,— о, тут масса дорогих воспоминаний, тут начиналась сознательная жизнь, возникали цели, стремления и пр. О том, что было со мной после 17-ти, вам, по здешним правилам, знать не надлежит, а потому кончаю. С 17 окт. писем от тебя не получал; пиши. Целую вас обоих,— впрочем нет, чуть было не забыл о Соне,— всех троих — Ваш *Сандро*.

От Нади писем нет.— Тебе писал я 23 сент., 2, 17 и 25 окт.,— не зачастил ли я?

21

Копия

10 ноября 1881 г.

Я жив и здоров.

Вчера получил, мои дорогие сестрички, ваши письма.

Спасибо вам за них, теперь я по крайней мере буду спокоен, а то и ни весть какие черные мысли приходили в голову, смущали мой покой. Отвечаю вам обеим сразу на два письма одним. Не по лени, конечно, и не за отсутствием материала: в тюрьме при полном отсутствии каких бы то ни было занятий странно говорить о лени; материала же, принимая во внимание нашу 6-летнюю разлуку, накопилось столько, что не только двух писем, а и двух книг было бы мало для передачи всего пережитого, передуманного... Нет, другие причины заставляют меня делать это: в продолжение своего 9-месячного пребывания в крепости я написал, вероятно, около 100 писем (к вам и к брату); если продолжать в том же духе (экая погодка питерская: теперь 11½ час. утра, а я без огня еле-еле могу писать), так в конце-концов это, пожалуй, и не понравится лицам, через руки которых проходят мои письма, тем более, что многие из них (из писем) и до сих пор все еще выходят у меня неудобными к отправке. Итак, на одном листике буду беседовать с вами обеими, но для удобства сначала с одной, а потом с другой. Принимая во внимание лета, начинаю с Нади.

Как и следовало ожидать, чахотка, которой ты меня так страшно напугала, оказалась плодом твоего собственного воображения, боль в груди и боку также, вероятно, в значительной степени преувеличиваются тобою...

Все это так, но откуда взялась эта мнительность, блестящим доказательством которой служит твоя нелепая выдумка о чахотке, откуда эта раздражительность из-за всякой мелочи, это расстройство нервов, на которые указывает Маша, о которых, наконец, и ты не стыдишься говорить... Помни, сестра, что все это есть результат слабохарактерности, невыдержанности, что человек может управлять (если не вполне, то в значительной степени) своими нервами, что истерики и пр. не являются у людей, умеющих и желающих владеть собой, что у тебя, наконец, они появились в самое последнее время. А прежде-то, помнишь, силой твоего характера любовались все, некоторые называли даже, совершенно впрочем несправедливо, бесчувственной, бес-

сердечной. Где же все это, куда девалось, какие бури и грозы разразились над твоей головой, сломали, раздавили тебя? В твоей жизни я знаю одно несчастье — потеря сына. Но неужели же от одного удара валиться на землю и просить pardon'y. Не забывай никогда, что жизнь — враг совсем не великодушный, что она именно лежачих-то и бьет, что только те, которые умеют оказывать ей сопротивление, бороться с ней, только те и бывают счастливы, тем она усыпает дорогу цветами, а слабых, склонивших перед ней покорно свою голову, давит, выбрасывает за борт. Но, однако, стоп машина, довольно, тем более, что нравоучения вообще, как известно, редко приносят пользу. Было, вероятно, а, может быть, есть и до сих пор, в твоей жизни какое-нибудь обстоятельство, которого я, к несчастью, не знаю, влияющее на тебя таким образом; пока оно существует, пока ты его так или иначе не удалишь с своей дороги,— все советы подтянуться, перестать нервничать, раздражаться попустому напрасны, бесполезны: эти явления суть следствия, которые исчезнут, раз исчезнет причина... Перед твоими глазами, Маруся, в лице Нади очень и очень поучительный пример. Тебе там, на месте, виднее, конечно, причины этой грустной перемены в ней. Устраивай поэтому свою жизнь таким образом, чтобы ничего подобного не было, чтобы ты и в 30 лет оставалась такою же бодрой, крепкой, какой, благодарение Аллаху, я видел тебя в феврале. В самом [несколько строчек вырвано] побаивался-таки за переезд через море, так как знаю по личному опыту, каково оно бывает весной и осенью: путь, совершенный тобою в 10 часов, делается иногда в продолжение 1½—2 суток. Побывавши в Болгарии, ты совсем раскритиковала наш бедный Путивль, так что мне его стало даже жаль. Сравнивая его с сонным царством, ты, ma chère, преувеличиваешь, присмотрись внимательнее, загляни в его прошлое, сравни с настоящим, и тогда заметишь, к немалому, может быть, удивлению, в нем значительную перемену. В самом деле, 200 лет, напр., тому назад у Путивльских стен (тогда были еще стены) показывались еще зачастую татарские орды, за Сеймом гуляло еще казачество. Путивляне были напо-

ловину мирными пахарями, а наполовину воинами... 10 лет тому назад все еще было не совсем спокойно... 25 лет, наконец, тому назад картина Путивляней в особенности его уезда была совсем не та, что теперь, совсем другие отношения были между людьми, следовательно, и сами люди должны были быть другими. Взявши среднего человека из каждой этой эпохи и сравнивши его с теперешним средним путивльским обывателем, увидишь разницу и большую. Жизнь, значит, не стояла на месте, люди не спали. Но лист оканчивается, отложу до следующего раза. Целую крепко свою [вырвано] М

22

[Получено 1 декабря.]

20 ноября 1881 г.

17 июня получил я от Нади письмо и с тех пор в продолжение 3 мес. не было от нее ни слова. 14 октября получил письмо от тебя, и, повидимому, в этом случае повторится то же самое, что и в первом. Отчего не пишешь ты [?] За октябрь и ноябрь я написал тебе 5 или 6 писем и ни на одно из них не получаю ответа. Для того, чтобы вернее дошло, буду краток. Жив, здоров. Целую вас.

Ваш *А. Баранников.*

Краток, впрочем, и по другой причине: болит рука, неловко писать. Пиши же!

23

[Получено 9 декабря 1881 года.]

Дорогой брат!

Наговорившись вдоволь о политике, перехожу к нашим личным делам. Спасибо тебе, ты исполнил, наконец, мою просьбу и вместе с тем свое обещание: в обоих последних письмах нет уже прежнего унылого, грустного тона; читая их, я не видел уже твоего печального лица, подернутых влагой глаз, напротив, губы твои изредка даже улыбались, во взоре светилось нечто вроде одобрения. Жаль только одно: перемена эта произошла не вследствие того, что ты примирился, наконец, с разлу-

кой вечной со мной, а вследствие другой какой-то причины; у тебя, как кажется, выросла надежда. Понятно, конечно, что человек, при обстоятельствах, подобных тем, в каких по отношению ко мне находишься ты, рад хвататься за всякую соломинку, тем более, когда он эту соломинку принимает, по незнанию или неопытности, за спасительную лодку. Нет, брат, сделай уж еще один шаг вперед: примирись с будущим в том виде, в каком я его не раз изображал,— это будет вернее всего. Твои усилия примирить меня с вечным заключением, в которое тебе так хочется запереть меня, просто забавны порой. Из физики, говоришь ты, я знаю, что нет ничего вечного (в смысле формы, конечно; сущность же вечна). И меня еще в 3 или 4-м классе гимназии обучали этому, но мне вместе с тем говорили, что perpetum mobili[e] в часах, напр. невозможно потому, что колеса механизма стираются, в человеке—потому, что его составные части изнашиваются, т. е. вечное заключение невозможно потому, что человек не вечен, смертен... но зато возможно заключение пожизненное...

За напоминание о Беранже спасибо, а за напоминание именно о «Старом капрале» — двойное. Я и то часто мурлыкаю его про себя. До крайности наивными кажутся мне некоторые твои замечания; ты спрашиваешь, напр., не получил ли я каких-нибудь льгот в день своего ангела, не встречаюсь ли я на прогулке «с людьми одной со мной категории», некоторые известия сообщил, наконец, только потому, что я, кажется (!!!) не читаю газет и пр. Видно, что ты мало знаком с условиями тюремной жизни,— хотя и находился, кажется, одно время при какой-то тюрьме в качестве караульного офицера,— что так легко поверил моему уподоблению тюрьмы училищу. Положим, что есть кое-что общее, но не следует в этой аналогии заходить слишком далеко.— Твою просьбу: описать, как я провожу день,— я исполню, но предупреждаю, что в описании этом не будет ничего интересного. Просыпаюсь обыкновенно между 5 и 6 час. утра; часов до 8 читаю, затем встаю, совершаю свой несложный туалет, в 9 получаю чай (когда есть деньги), до 12½ опять читаю, около этого времени дают обед, затем снова читаю, в 6½ ужин,

после которого уже без перерывов сижу за книгой часов до 11—12 и 1. Если прибавить к этому прогулку в продолжение ¼ часа, то будут исчерпаны все мои занятия.— Посмеялся я над вашей охотой, но вместе с тем и позавидовал. С удовольствием пошлялся бы я теперь с ружьем, только, конечно, не при такой обстановке, при какой ходили вы. Облава, это — не охота. Охотник сам должен разыскать дичь. Особенно увлекательной делается охота тогда, когда она сопряжена с опасностью, охота, например, на медведя, когда все чувства твои напрягаются, сосредоточиваются, когда промах, осечка грозят тебе смертью,— хорошо! Да, твой упрек, брат, несправедлив. Ты почему-то думаешь, что я знал, где ты все это время находился, и не зашел к тебе по нежеланию. Но, клянусь пророком и его священной бородой, что я, несмотря на все свои старания, не мог узнать твоего местожительства. Во время войны я внимательно следил за газетами, встречал там в числе офицеров массу знакомых товарищей, но тебя все не было и не было.— Еще раз спасибо за деньги. Целую вас обоих (троих), мои дорогие. Прощайте.

Ваш всегда *Сандро*.

24

16 декабря 1881 г.

Сажусь на постель к своему маленькому, прикрепленному к стене железному столику, беру в руки перо и начинаю строчить послание. О чем же писать? Уж не взять ли темой думу Кольцова в его «Сяду я за стол, да подумаю». Но нет, он думает о жизни, предмет его мыслей—устройство своего до сих пор как-то несладывавшегося житья-бытья. Мне об этом думать нечего, эти вопросы решены давно, в силу этих решений сложившаяся жизнь прошла, впереди мгла непроглядная, именуемая смертью, [зачеркнуто два слова самим автором] в настоящем же нечто еще более скверное—тюрьма, одиночное заключение... Какое заунывное, однако, начало; оттяжка суда невольно как-то навевает такие мысли. Не сочти, пожалуйста, их за малодушие, за упадок духа, ими я хочу выразить свое недоволь-

ство, досаду, а эти чувства, как известно, не сопровождают упадка душевных сил. Напротив, я день ото дня становлюсь все здоровей и веселей. Я пришел, например, к заключению, что в некоторых отношениях в неволе вольнее, чем на воле (довольно плоский каламбур). В самом деле, здесь в моем распоряжении комната с «небелью», делаю я в ней, с некоторыми ограничениями, все, что хочу, могу спать сколько и когда вздумается (какая роскошь!), хочу сижу, хочу стою, прохаживаюсь; можно, вероятно, не поднимая шума, и бегать (не пробовал ни разу); кормят, поят на казенный счет, позволяют казенное разнообразить (очень кстати) своим и пр. Чем не житье! Чего больше от бога требовать... Кстати, о казенном содержании: рассчитывал я недавно, во сколько я обошелся казне —7 лет в гимназии, год в училище да 11-й месяц в тюрьме,— много вышло. Чтобы возвратить все это, части земли, приходящейся на мою долю, далеко не достаточно. Как долго сижу я в тюрьме, можно видеть из следующего: свои сапоги надеваю я в течение дня только на ¼ часа, именно во время прогулки; несмотря на это, они, бывшие при моем аресте почти новыми, теперь истрепались. Истрепались, впрочем, калоши, но это все равно, так как в день ареста я был в бальных, тоненьких ботинках (собирался плясать), носить которые без калош невозможно. Придется вскрывать свои вещи, а это сопряжено, кажется, с большим трудом, и доставать другую пару или покупать новые. Не желал бы я вообще, чтобы кто-нибудь из вас меня теперь увидел — внешность, надо полагать, ужасная... Неужели в таком виде придется и явиться в суд! Несколько раз я уже начинал к нему приготовляться, но все напрасно. Снял было свою гриву, а теперь снова придется снимать... До Рождества, надо полагать, суда уже не будет — не успеют; придется ждать, значит, января месяца, т. е. 1882 года. Не думал я, что доживу до него, а вот пришлось. Да, как подумаешь иногда об этих 10½ месяцах, просто тошно станет: не привык я, чтобы оставались за мной такие периоды времени, ничем не заполненные, периоды полного бездействия, периоды, наконец, которых нечем помянуть. В самом деле, прежде, бывало, оглянешься

назад и увидишь то зеленый холмик с ручейком возле него, с уютным маленьким домиком,— картину вообще тихой семейной жизни, то подымающуюся к небу горную вершину, то бездонную пропасть, море бушующее, ветер ревущий... сверкает молния, гром гремит... А теперь пустота, одно пустое место.

Не страшен гроб — я с ним знаком.
Не бойся цепи и бича,
Не бойся яда и меча,
Ни беззаконья, ни закона,
Ни урагана, ни грозы,
Ни человеческого стона,
Ни человеческой слезы[1].

Так Некрасов изобразил смерть... Эх, места нету, не успел окончить мысли.— Нужно однако поздравить вас, милые супруги, с праздником, всех благ земных и небесных. Целую вас обоих[2]. Пишите, да почаще, с 25 Н. не получал писем. Прощайте.

Ваш *А. Баранников.*

25

[Получено 7 января.]

24 декабря 1881 г.

Здорово, дружище Василий! Как живешь-можешь?.. Все ли в добром здоровьи обретаешься, как жена, Соня?.. Если все обстоит благополучно, то поздравляю вас всех теперь с Новым годом; не буду желать ни нового счастья, ни нового здоровья — живите со старым, ибо, кажется, насколько мне по крайней мере известно, тихо и безмятежно (т. е., по-вашему, счастливо) текла жизнь ваша в последние 2—3 года, не было никаких бурь и треволнений, которых вы так боитесь, не волновалось вокруг вас житейское море, не носило вас по своим волнам, не грозило потопить вашей утлой ладьи,— напротив, солнце светило над вашими головами, посылая свои ласковые лучи в вашу хижину, зефир слегка шевелил зеленые листья, ручеек журчал недалеко — тишь да гладь, одним словом, да божья благодать... Хватит ли у кого-нибудь совести, видя та-

[1] В оригинале письма стихи написаны, как текст, — не отдельными строками.

[2] Слова: (и Соню) в оригинале письма зачеркнуты.

кую умилительную картину, желать, чтобы она исчезла, чтобы мягкий голубой сон заменился каким-нибудь другим, более резким? Конечно, нет. Итак, еще раз живите по-старому, и да хранит вас Аллах.— Вчера получил твое письмо от 10 декабря. Тебя удивило мое последнее послание — в нем не оказалось, против обыкновения, ни года, ни числа, и притом начиналось оно сразу с 4-й (это ошибка: нужно 5-й, а не 4-й) стр., хотя обычное «милый брат» и было. Долго, видишь ли, объяснять, как это произошло, да оно и так, кажется, понятно. Что же касается до «милый брат», то я приписал это уже перед самой отправкой, а поставить число на этом 2-м листе забыл. Писано оно 26—27 ноября, а отправлено 1-го декабря. Хотя я и не имею возможности, подобно тебе, записывать дни получения и отправки писем и не держу полученных при себе, но, как видишь, помню довольно точно — значит память пока еще не отшибло.

Что же сказать теперь о себе [?] И моя жизнь вот уже в продолжение 11 месяцев катится тихо и безмятежно, но мне, к счастью, нравится это гораздо меньше, чем вам. Оглядываясь порой назад, я с ужасом вижу за собой громаднейшее пространство в целых 11 месяцев (в древней России пространства измерялись временем, да и теперь это еще делают), представляющее из себя эту любезную для вас гладь, гладь в полном смысле этого слова,— нет ни гор высоких, на которые я привык взбираться, ни пропастей, в которые не только спуститься, а взглянуть страшно... но зато впереди я с каждым днем все ясней и ясней начинаю различать небольшое возвышение, помост, на котором отдыхает утомленное окружающим однообразием мое зрение; рядом с ним «хоромы высокие — два столба с перекладиной». Расстояние между нами все уменьшается и уменьшается; думаю, что недели через две — это крайний срок — мы, наконец, сойдемся.— А ведь изрядно мы с тобой поистрепали эту тему, обоим нам она сильно надоела, но за невозможностью говорить о другом поневоле приходится толочься все на одном месте, вероятно, повторяться.— Если бы, пишешь ты, я заполучил тебя в свои объятья, то никогда больше не вы-

пустил бы. Нет, друг, я скользок, не удержал бы ты меня долго при себе... не желай поэтому моего возвращения в отчий дом, вспомни стихотворение Лермонтова «Парус» и пр. Откуда ты взял, что я падаю или могу пасть духом? Нет, я бодр и крепок. Целую вас всех, дорогие мои, проводите веселей праздники, танцуйте и вспоминайте при этом меня. Тебя, Е. П., С. це- ю. *А. Б.*

26

Копия

24 декабря 1881 г.

Получено 7 января. 1882 г.]

С Новым годом, с новым счастьем, с новым здоровьем! Как живой стоит передо мной в настоящую минуту путивльский визитер с этой фразой на устах; ему отвечают, конечно, тем же, затем следует приглашение выпить и закусить, еще два-три [вырвано]

форма ко

форму и
чего желает и он, но
не нужно уверять вас, мои дорогие, в том, что пожелания мои искренни — идут из глубины души. Остановлюсь, впрочем, несколько дольше на этой фразе; начну с конца. С новым здоровьем это относится преимущественно к тебе, Надежда, и, вероятно, к маме (мало вы мне об ней пишете). Сбросьте с себя при наступлении Нового года больничные халаты и больше никогда уже в них не наряжайтесь — они к вам совсем не идут, а ты, сестра, любила когда-то одеться со вкусом. Что касается до тебя, Машурка, то тебе нового здоровья, кажется, не нужно, ибо старого, благодарение Аллаху, довольно (три раза плюнул — не сглажу значит). Виктор Алекс., я надеюсь, также здоров

[вырвано]

в своей

вам этого нового

счастья, но, зная, как тесно связано оно с моей судьбой, решение которой, к моему великому сожалению, затянулось до 82-го года, и зная вместе с тем это решение, язык не поворачивается. Эх, старался я все это

время приучить вас к этой мысли, да нет, чувствую, что не удалось. Жаль...

Что сделалось с твоим, Надя, письмом [?] Послала ты его, по словам Маши, еще в конце ноября, но я его до сих пор все не получил. Это очень странно, так как письма в последнее время доходят вообще исправно. В ожидании его я все откладывал и свое письмо, но, наконец, ждать надоело.— В ваших последних письмах было несколько сведений о прелестных путивлянках, моих старых знакомых — поговорю и я об них. Во-первых, Надежда Николаевна, она, несчастная, умерла. Жаль мне ее, сердечную, веселая девица была, а как стала дамой, то, небось, стала еще веселей. Да, сошла в могилу и не расплатилась со мной, так один вальс за ней и остался. Ну, да бог с ней, с мертвых спрашивать нечего. М. И. Берченко как поживает, что это она засиделась, не выходит так долго замуж — давно ведь пора. Или тоскует все по Левестя[1]? Но неужели же в Путивле некому ее утешить? Что поделывает молодая вдовушка Екат. Ник., ее сестрица, моя невеста Л. Н., как поживают Астанины, Леля, женился ли Алексей и пр., пр. [?..] Пожалуйста, на первом же вечере в новом путивльском клубе засвидетельствуйте им всем мое глубокое почтение, будь я там, с каждой из них непременно танцовал бы 3-ю кадриль, но... Несуразное вышло письмо, торопят, спешу кончить.— Я жив, здоров, немедленно после праздников ожидаю суда, еще, следовательно, раздругой напишу вам, да и конец, пойду туда же, куда отправилась и Н. Н.; знакомых там, оказывается, будет много. Погода теплая, дождь, ветер, зимы не было и нету, к великой моей радости не люблю я ее. Целую вас всех крепко, горячо, пишите о маме. Всем поклон и поздравления.

Ваш *Сандро*.

27

Копия

4 января 1882 г.

Письмо твое, дорогая Надежда, вместе с Машиным от 21 декабря получил 27-го, а 30 или 31-го получил,

[1] Конец фамилии неразборчив.

наконец, и денежное от 29 ноября. Желание твое, как видишь, не исполнилось, твои деньги пришли на целый почти месяц позже Васиных; это обстоятельство, конечно, нисколько не уменьшает моей глубокой благодарности, которую я приношу тебе за их присылку, а Вик. Алекс. за хлопоты по отправке, так как, судя по адресу, отправлял, кажется, он. Вряд ли только мне придется ими воспользоваться, так как я со дня на день ожидаю суда. Получили ли мои два последние письма от 16 и 24 апреля? 1-е из них было наполнено гастрономическими размышлениями, а 2-е, попросту говоря,— сплетнями о путивлянках. Ты пишешь, сестра, что если бы выиграла 1 января, то первым делом прикатила бы ко мне. Не советую тебе думать об этой поездке и вообще о свидании со мной. Ты знаешь ведь со слов брата, при каких условиях происходило мое первое свидание с ним.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Согласись сама, что такие условия совсем непритяны. Если же прибавить еще к этому происшедшую после уже того перемену, о которой я не хочу говорить, но которая тебя, слабонервную, сильно смутит, то, право, рассудивши зрело, пропадает всякая охота видеться. Если бы я ожидал найти бодрой, смеющейся, ничем не смущающейся, без слез на глазах, тогда другое дело, но, принимая во внимание, что свидание это сильно потрясет твои нервы, что ты еще, пожалуй, упадешь в обморок, а я не буду иметь возможности помочь тебе, должен буду из-за решетки смотреть, как около тебя будут чужие... принимая все это, а также и многое другое во внимание, я, повторяю еще раз, не советую тебе думать об этом... да и поздно уже, не успеешь. Помни меня таким, каким я был 6 лет тому назад, помни кадета-Сашу (так называли меня путивльские барыни) и не старайся представить себе иной образ, образ политического преступника Баранникова; заранее предсказываю неуспех такого рода попытки, ибо факты, одни голые факты, когда они будут в твоем распоряжении, не дадут еще образа, а только скелет,— вещи,

как известно, очень непохожие друг на друга даже и тогда, когда они принадлежат одному и тому же лицу; мысли, чувства, душевные движения, биение сердца, учащенное дыхание,— все это останется от вас скрыто и скрыто навсегда. Только следя шаг за шагом за жизнью человека, пользуясь его дружбой, толкуя с ним, забираясь в его душу, делясь с ним радостью и горем, наблюдая его во все важнейшие минуты его жизни,— только тогда можно имет приблизительное понятие о нравственной физиономии этого человека.— Маша, откуда это ты набралась такого, как бы это выразиться яснее, монашеского духа? Толкуешь постоянно о смерти или приближении к ней, вообще твои письма напоминают о великом посте. Положим, что не слишком веселая жизнь твоя, но ищи, старайся украсить ее чем-нибудь. Погрузись, например, если чувствуешь склонность, в чтение; оно, говорят, людей, еще не живших, но хотящих жить, волноваться, стремиться куда-то, переносит в заоблачный мир, где они, забывши о земле, чувствуют себя очень и очень недурно. Как здоровье мамы? Мой ей горячий сыновний поцелуй вам, сестры, братский, В. А. родственный остальным поклон.

Ваш *Сандро.*

28

[Получено 16 января 82 г.]

4 января 1882 г.

Дорогой брат!

В конце XI века появился в Киеве волхв, который предсказывал, что скоро (он назначил очень короткий срок — всего 5 дней) совершится великое чудо: греческая земля станет на место русской, а русская — на место греческой. В настоящее время предсказание это, думаю, исполнилось, ибо такая зима, какая стоит теперь, возможна только в северных провинциях древней Греции, а никак не в России. В самом деле, вот уже и январь наступил, а морозов ни никольских, ни рождественских не было, не будет, кажется, и крещенских. За все это время всего только в продолжение 2—3 дней

окна мои украшались затейливыми узорами и меняли, таким образом, свою обычную крайне непрезентабельную физиономию. Сегодня, напр., они покрыты дождевыми каплями, которые, точно слезы из глаз, скатываются по ним и с шумом падают в подставленную для них кружку. Снегу у нас на дворе мало, а в городе, вероятно, совсем нет; всюду вода, грязь, лужи; над городом висит непроницаемый туман, жилище того страшного дракона, выхватывающего ежедневно из списка живых сотни жертв и именующегося тифом. Я нарочно держу свою форточку открытой, чтобы доставить ему свободный к себе доступ (он ведь стен и стражи не боится), нарочно выхожу гулять с открытой грудью, чтобы дать ему возможность заключить меня в свои объятья, но нет, «ты мне, говорит он, не нужен, ты и без того обреченный, я ищу крепких, цветущих здоровьем». Собственно мне, впрочем, такая погода как нельзя более нравится, я не раз тебе писал, что морозов, холоду не люблю и предпочитаю им даже осеннюю слякоть, а потому эту необычайную для Питера зиму принимаю как знак особенной ко мне милости Аллаха. Как бы только не сглазить этой теплой погоды, а то как задуют северные ветры, как ударят 30°-ные морозы, тогда придется кричать караул.

Да, сегодня 4 число, послезавтра 6-е — конец праздникам; 7-го, следовательно, можно рассчитывать на получение, наконец, с таким нетерпением и так давно ожидаемого обвинительного акта. Скорей бы только, скорей; я сижу ведь уже 12-й месяц. По мере того, как приближается та роковая минута, в которую я должен буду перешагнуть через пропасть, отделяющую бытие от небытия; минута, в которую я перестану быть самим собой, а стану чем-то другим; в которую, говоря метафорически, пламя от дуновения ветра потухнет, исчезнет, разложится на свои составные части... — во мне все более и более возбуждается интерес к этой минуте. Практические занятия мешали в то время, когда я был на воле, долго останавливаться на мысли о ней, но теперь при обилии свободного времени взор невольно обращается в ту сторону. Что же видно там? Ничего, туман, хаос. Религия не отвечает на этот вопрос, она по-

крывает его таинственной завесой; наука только обещает ответить, а в лице некоторых авторитетов утверждает, что вопросу этому суждено навеки остаться таким же таинственным, недосягаемым, каким представляется он в настоящее время. Правда, если нет прямого ответа, если наука современная исключила даже вопрос этот из числа очередных, отчаялась, так сказать, после бесчисленного множества неудач взять крепость приступом, а решила вести продолжительную осаду, занимая окрестные места, то, судя по направлению, принятому ею, можно угадать этот ответ, можно по аналогии, по наведению представить себе в общих чертах ту картину, какую обещает она представить со всеми подробностями в будущем; но это будет только отгадка, предположение даже, а не факт не знание, а тут хочется именно знать, быть уверенному так же, как уверен что 2+2=4. Вера должна в этом случае выручить. Итак, за невозможностью знать буду верить. На вопрос, чему верить, отвечать, надеюсь, не нужно: понятно и так.

На твое последнее письмо уже раз отвечал (24 декабря), это вторично. Получил ли письмо от 16 числа? Как провели праздники [?] Тебя, может быть, удивляет отсутствие в моих последних письмах нежных слов, выражений любви и пр.; но я избегаю их всегда, когда нет в них особенной нужды, а в особенности тогда, когда они предполагаются и без того. В моей любви, надеюсь, вы не сомневаетесь. Прощайте. Целую вас всех троих сразу, сжимаю в своих широких объятиях.

Ваш *Сандро.*

29

[Получено 25 января 1882 г].

11 января 1882 г.

Дорогой друг Василий[!]

Вчера вечером получил твое письмо от 27 декабря. Обрадовался я ему сильно, ибо боялся, что какие-ни-

будь обстоятельства помешают тебе своевременно ответить мне, заставят неделю-другую промедлить, а тем временем отойду туда, где ни почты, ни вообще какого-нибудь способа переписки не существует, говоря короче — на тот свет. Да, порадуйся вместе со мною, я получил уже обвинительный акт; дней, следовательно, через 8—10 конец, так что это письмо ты получишь уже от «покойного» брата. Последнее обстоятельство, я знаю, будет тебе неприятно; ты, питая несбыточные надежды, предпочел бы иной конец, предпочел бы пожизненное заключение, но судьба, благоволя ко мне, делает по-моему. Чтобы и ты не особенно жалел обо мне, я повторяю то, что уже раз сказал, т. е., что легкие мои отказываются служить, желудок перестает работать; замедли они с судом еще 2—3 месяца, и я бы окончил свои дни смертью естественной, ну а военным людям, сам ведь знаешь, умирать на постели не годится.— Расскажу, однако, все по порядку. 9 числа, часа в 2 пополудни, мне принесли сюртук, брюки и сапоги и предложили одеться, затем повели в канцелярию, где я увидел 7—8 человек, одетых в виц-мундиры; на груди одного из них сияла звезда; к этому последнему я подошел. Он мне заявил о том, что я предан суду Особого присут. прав. сената, что я имею право выбирать из числа прис. повер. защитника (в 7-дневн. срок), что, наконец, могу просить о вызове нужных мне свидетелей; в в заключение он передал мне обвинительный акт, с которым я и отправился в свой номер. Быстро просмотрел его тут, обратил свое внимание на более интересные места, отложил в сторону и погрузился в думу. Теперь ожидаю бумагу и перо,— думаю, что должны бы были дать,— чтобы сделать несколько замечаний. Что же касается до защитника, то я просил назначить кого-нибудь из числа следующих трех: Александрова, Боровиковского, Стасова; фамилии, как видишь, все известные... Итак, к 20 числу я думаю разделаться со всей этой мирской суетой; нагулявшись вдоволь на поверхности моря, пора подумать о возвращении в его необъятные глубины... Нет, к философии сегодня не расположен, поговорю лучше о вас.— Ты, брат, и был и останешься главой, защитником и покровителем нашей семьи; ма-

ма и Маша, как тебе известно, и в покровителе и в защитнике сильно нуждаются, не бросай их. Мама, как не раз уже говорил, не должна знать о моей участи, пусть думает, что я где-нибудь в Сибири; зная состояние ваших финансов, я думаю, что она проживет свой век не нуждаясь. Судьба Маши меня сильно беспокоит. В самом деле, выйти замуж в Путивле у нее шансов мало, придется скоротать свой век старой девой à la Варвара Николаевна, Марья Алексеевна etc., а это куда как невесело. Ты и Надя устроились; из последней, я думаю, выйдет в конце концов тетушка Елиз. Вас., а из тебя... ты до седых волос доживешь, оставаясь все тем же Васей, Базилем, каким был и в 20 лет; счастливая, право, у тебя организация, бесследно, повидимому, проходят для тебя житейские бури, душа твоя остается все такой же молодой, юной, какой была и прежде. Это, впрочем, только мое впечатление от переписки с тобой; очень может быть, что я и ошибаюсь. Браком твоим, говоря совершенно откровенно, я доволен, думаю, что вы будете и до конца так же довольны друг другом, как теперь.— Жена твоя, пишешь, целует меня; плачу ей за это с лихвой, целую ее много раз, целую и нареченную дочь твою Соню, тебя же обхватываю своими все еще довольно сильными руками, крепко сжимаю твое небольшое тело, горячо, страстно впиваюсь в твои уста... и буду писать еще раз накануне казни.— Читай внимательней мое дело, удивляйся, но старайся не бранить меня, сдержись.

А.

Зачем это ты хочешь посылать деньги? Разве на поминовение души пойдут. 30-го ты именинник: плохой подарок приготовил я для тебя. Поздравляю тебя на всякий случай.

30

11 января 1882 г.

Дорогие мои мама, Надя, Маша! 24 декабря и 4 января отправил я вам письма. Пишу так скоро опять, желая сообщить радостную весть: скоро суд. Весть эта, впрочем, радостная для меня, будет, думаю, неприятна

для вас, ибо суд постановит приговор, который немедленно вслед затем и приведется в исполнение. А что это будет за приговор, вам должно быть из прежних моих писем известно. В настоящее время считаю своевременным сообщить вам о состоянии своего здоровья, ибо оно имеет некоторую связь с ожидаемым мною приговором. Дело в том, что у меня чахотка и не призрачная, какою было напугала меня Надя, а самая настоящая, так что, принимая во внимание быстроту ее развития, петербургский климат, приближающуюся весну и пр., можно с уверенностью сказать, что жить мне на сем свете и при обычном ходе дел осталось бы не более 2—3 месяцев. Вы видите, следовательно, что нечего жалеть о моей смерти — тех двух месяцев, которые я не дотянул до естественного конца: они были бы, принимая во внимание обстановку, далеко не приятны. Надо, напротив, радоваться, что таким образом сокращаются мои предсмертные страдания и я отхожу в вечность сравнительно сильным, в здравом уме и твердой памяти, а не изнемогая от физических болей... Какое же вам оставить завещание? Имущества благоприобретенного у меня нет, хотел было отправить кое-что из своих вещей, но мама не захотела; остается, следовательно, ограничиться одними словами, да и тем, вы, пожалуй, плохо будете верить, ибо укажете на последние 6 лет моей жизни, которые, по вашему мнению, служат опровержением всех моих уверений в любви и пр. Нет, дорогие мои, не сомневайтесь в моей любви, верьте ей: я вас люблю сильно, горячо. Странность, загадочность моего поведения, добровольную шестилетнюю разлуку с вами попытайтесь объяснить как-нибудь иначе — есть объяснение, я не указываю на него сам, чтобы не подвергнуть письмо опасности быть задержанным, неотправленным. С вами, сестры, я хочу составить заговор против мамы: она не должна знать о моем конце, это было бы для нее слишком тяжело.

Если же, упаси боже, какими-нибудь путями дойдет до нее слух о моей смерти (ваши слезы, болтовня путивльских кумушек и пр.), то вы обязаны, забывши о своем горе, употребить все усилия для ее успокоения. Можете ей сказать, напр., что я умер, исполнивши обя-

занности христианина, примирившись с богом, или, смотря там по обстоятельствам, придумайте что-нибудь другое, тут важно только одно — успокоить ее, ослабить силу первого удара. А вы существа еще молодые, сравнительно сильные, имеющие больше привязанностей, больше радостей в жизни, вы в себе должны найти силы для перенесения этого огорчения. Еще просьба: никого, кроме меня самого, не обвиняйте, читая в деле неприятные для вас поступки вашего Саши, приписывайте их ему и только ему, все ваши соображения относительно постороннего влияния и пр. будут неверны. Вам, может быть, интересно будет знать, в каком настроении я теперь нахожусь. Настроение, можно сказать, прекраснейшее, аппетит непомерный, сон глубокий и продолжительный (8—9 ч. в сутки), думаю что и до самого конца останусь в таком же приблизительно состоянии; об этом, впрочем, напишу накануне смерти.— Ну не плакать, зачем в глазах ваших появляются слезы, зачем они катятся по вашему лицу, зачем эти стоны, которые доносятся до моего слуха? Эта поза отчаяния. Зачем все это?.. Эх, сестры, хотя вы и плачете, но я все-таки целую вас, а за слезы треплю слегка за ухо. Маму, Надю, Машу, Вик. А., всех род. и знак. целую.

Ваш и в могиле *Саша.*

31

Получено 24 февраля 1882 г.

3 февраля 1882 г.

Дорогой друг!

Не вытерпел-таки, еще раз захотелось потолковать с тобой перед судом. Да и немудрено: воспоминания просто одолевают, так и лезут одно за другим в голову; поделиться здесь не с кем, и невольно берешься за перо, выкладываешь их,— тщательно, впрочем, процеживая сквозь густую кисею, — на бумагу. Вот когда начали, наконец, выплывать наружу и воспоминания раннего детства, вот только когда пробили они толстый слой, покрывавший их до сего времени. Но как, во всяком случае, бледны они, в каком тумане рисуются

события того отдаленного прошлого. О Кавказе, понятно, никаких воспоминаний не сохранилось. Приезд в Путивль и первые годы также прошли бесследно. Сохранились всего только два-три случая, в которых является действующим лицом отец, затем его фигура исчезает окончательно. Еле помню смерть двух братьев, твои первые приезды из гимназии... вот почти и все. Затем выступают на сцену мяч, змей, азбука... Гимназия. И тут все так же туманно, нет живых образов, все представляется как бы во сне. Но тиф почему-то хорошо сохранился в памяти, т. е., собственно, начало и конец его; до сих пор не могу вспомнить без улыбки одной прекурьезнейшей сценки: вскоре после кризиса я пришел на несколько минут в себя, открыл глаза и с удивлением, ничего не понимая, начал бросать вокруг себя взоры. В это время подошел ко мне воспитанник старшего класса и начал поздравлять с Новым годом. Я, зная, что этот воспитанник на плохом счету у начальства, вместо благодарности начинаю вести вслух приблизительно такое рассуждение: «нам, маленьким, послушным мальчикам, нехорошо быть знакомым с таким сорви-головой, а то и ко мне начальство начнет относиться так же плохо, как и к вам, а это огорчит мамашу, братьев и сестриц». Как тебе это понравится?.. Сцена эта поразительно живо сохранилась в моей памяти со всеми мельчайшими подробностями. Вот какой я был тогда паинька. Затем еще год-полтора продолжалась это раннее детство, но пришла, наконец, иная пора. Как степной ураган налетел на меня и помчал в неведомую даль бурный, убивающий одних и оживляющий других поток новых мыслей, не приходивших до того ни разу в голову. Под их напором душа разрывалась на части, сердце беспокойно работало; я принимался горячо молиться, отгоняя от себя все сомнения, с лихорадочным нетерпением проглатывал все попадавшиеся на глаза книги, ища в них ответа на эти страшные вопросы. Но, понятно, такого ответа, какой мне был нужен, ответа короткого, ясного и определенного я в то время не мог найти; это мучительное тогда и дорогое, по воспоминаниям, теперь состояние продолжалось. Вот этот период глубоко запечатлелся в

моей памяти; я помню отчетливо и ясно каждое движение моей души, каждый удар моего юного сердца. Славные, дорогие воспоминания! Несчастны те люди, которые не переживали таких минут, у которых нет таких воспоминаний.

Настал, таким образом, 18-й год моей жизни. В конце его, даже в начале уже 19-го, совершилось, наконец, то, что давно уже подготовлялось: закончился период юношеских мечтаний, я вступил в жизнь, в настоящую, в действительную жизнь.

Способ, посредством которого я оставил училище, правда, оригинален, но он вытекал отчасти из условий, в которых находятся юнкера (невозможность выйти свободно), отчасти же из моего характера: я не люблю оставлять за собою кораблей для обратного пути, немедленно сжигаю их.

После этого факта я могу уже шаг за шагом проследить свою жизнь, все самые незначительные подробности воскресают при малейшем напряжении памяти. Точно по бушующему морю гулял я в легком челне, волны ежеминутно окачивали меня... шум, крик, стоны... Наконец, я попал в Петропавловскую крепость, в коей пребываю и до сего дня. От этого последнего года, конечно, воспоминаний никаких не сохранилось... нечего было запоминать. Прощайте. Целую тебя, Е. П., Соню. Ко мне больше не пиши,— разве спириты возьмутся доставить письмо на тот свет.

Ваш *Сандро.*

32

15 февраля 1882 г.

Дорогой брат!

Шесть длинных тяжелых дней тянулся наш процесс. Медленно один за другим появлялись на сцене отдельные акты страшной кровавой драмы, действующим лицом которой был, к несчастью для вас, и я. Наконец, совершилось. Приговор произнесен, один, два дня — и

его приведут в исполнение. Все, следовательно, шло так, как я ожидал. Если бы, впрочем, ты знал дело или, вернее, мое личное участие в нем, то увидел бы, что этой уверенности не нужно было обладать даром пророчества. Я употреблял все усилия, подготовляя вас к этой роковой вести. Подготовил ли только? Не будет ли удар все-таки слишком тяжелым? Боюсь я за это, боюсь в особенности после получения твоего последнего письма. Ты уверяешь меня в своей искренности. Знаю, знаю, что нет рисовки в твоих словах, что все выражения горячей любви ко мне идут из глубины души, что время, разлука не уменьшили этих чувств, что, наконец, исключительное положение, в котором я находился последнее время, напротив, усилило, обострило, так сказать, твою любовь... Но это-то ведь и отравляет мои последние минуты, это-то единственно и смущает мой покой. Много наслаждений, радостей доставляют человеку личные привязанности, часто разглаживают они морщины на лбу, вызывают улыбку на устах... но сколько зато горя, сколько стонов и слез, мучительных, страшных минут, благодаря им, приходится переживать. Редкий счастливец, взвесив хорошенько и то и другое, может сказать, что радостей они доставили ему больше, чем страданий. Но, несмотря на это, вряд ли кто предпочтет совсем их не иметь. В самых мучениях, доставляемых ими, человек ухитряется отыскать что-то хорошее, самые страдания становятся для него дороги. Да, это так, никто не уверит меня в противном...

. . . . . .

Все предыдущее написано мною вчера после того, как прочтены были ответы на вопросы о виновности. Относительно меня было 5 вопросов, и на все один ответ: «да, виновен». В 11½ часов ночи мы снова были позваны в суд для выслушивания резолюции. Она меня мало интересовала: я думал, что знаю ее и без того. Вообрази же себе, как был я... раздавлен, когда вместо ожидаемого «к смертной казни через повешение» вслед за моей фамилией следовало: «каторжные работы на заводах без срока». Да, я был раздавлен. Перед приговором я спал, спокойно, безмятежно спал; когда

нужно было итти в суд, меня должны были разбудить. После же этого приговора какая-то тупая боль почувствовалась в груди, какое-то тупое отчаяние овладело мною. Именно тупое. Это не было жгучее чувство, разрывающее сердце на части, чувство, которое я так любил и люблю до сих пор; нет, сердце не разрывалось на части, а ныло, страшный девятый вал не поглотил меня, а только отбросил... но отбросил на мель. Да, действительно, мое положение похоже на положение моряка, счастливо ушедшего от бури и попавшего вслед за этим на мель... Нет, я не литератор и не психолог, я отказываюсь изобразить свое теперешнее настроение. Знай только, что оно нехорошо. Это положение, в котором люди способны бывают в продолжение нескольких часов подряд смотреть бессмысленно на одну и ту же точку. Будь, впрочем, спокоен, нервной горячки у меня не будет, с ума я не сойду. Мало того, утешу даже тебя. Дело в том, что никакой чахотки у меня никогда не бывало; выдумал же я ее лишь для того, чтобы облегчить для вас страшный удар. Да, я здоров. К лучшему ли только это? Ох, навряд. Что, в самом деле, впереди? Вечное одиночное заключение. Не чувствовать и не жить легче, чем чувствовать и не жить... Но довольно. Твое желание исполнилось. Я жив и здоров — радуйся, если можешь.— Приговор произнесен вчера, в окончательной форме будет произнесен 5 числа. Прощай. Невольно вспоминается песенка, в которой говорится о какой-то тетке, будто она собиралась помирать: помереть не померла, только время провела. Да, я 4 года готовился к смертному приговору, в продолжение 4 лет был уверен, что не миную петли, но... Чтобы ты не обвинил меня в легкомыслии, в напрасных мучениях, которые причинял я вам своими уверениями, оказавшимися несправедливыми и пр., и пр., присоединяю на отдельном клочке те обвинения, которые были мне предъявлены. Целую Е. П., Соню.— Не забывайте меня, дорогие. В каких-то палестинах буду я обретаться!— Прощай, целую тебя. Спасибо за все.

Твой *А. Б.* Дворянство ведь фюить!

Получено 26 февраля. [Пометка получателя].

Получено 11 марта 1882 г. Рудык. [Помета получателя].

2 марта 1882 г.

Дорогой брат!

Письмо твое от 17 февраля получил 26-го. Оно попало в мои руки как раз в ту минуту, когда я должен был из Дома предварительного заключения, где я просидел по случаю суда целые три недели, ехать снова в крепость. Содержания его поэтому я почти не помню и думаю просить, чтобы мне дали его прочесть еще раз. Ты ожидаешь, вероятно, от меня описания подробностей суда, ощущений, мною испытанных при этом, и пр. пр., но ожидания твои на этот раз не оправдываются, я буду краток, а многого и совсем не коснусь.— О получении мною обвинительного акта ты уже знаешь. 4 февраля, часов в 9 утра, мне принесли мое собственное платье и сказали, чтобы я собирался. Сборы были непродолжительны, и через ¼ часа в карете с офицером и двумя жандармами выезжал уже из Иоанновских ворот Петропавловской крепости. Через опущенные, но слегка прозрачные шторы видны были неясные очертания домов, фигуры людей, услышал я снова городской шум, суету... Невозможность вмешаться в толпу и начать суетиться вместе с нею совершенно невольно заставила меня вспомнить евангельское изречение: «О суета сует, всяческая суета» (кажется, так); в данном случае оно было равносильно заключению лисицы о винограде. Но вот мы уже на Литейном проспекте, карета поворачивает у ворот Дома предварительн. заключения. Привыкший уже к таким визитам сторож быстро отворяет их, и мы въезжаем во двор. Здесь меня высаживают и ведут в приемную, где я записываю свое звание, имя, фамилию, при чем на вопрос о том, женат ли я или нет, пришлось отвечать: женат, но под чужой фамилией; а на вопрос: под настоящим или фальшивым паспортом проживал я в последнее время,— отвечал: паспорт-то был настоящий, да не мой. Наконец, я взобрался на шестой этаж и очутился в камере. Против моих ожиданий, камера эта оказалась прекраснейшей (относительно, конечно): светлая, чистая, сухая, с ватер-клозетом, проведенной во-

дой, газом и пр.,— все это такие удобства, от которых я давно уже отвык. Кроме всего этого мне выдали все мои вещи: платье, белье, часы, книги... Вообще в Д. пр. з. мне показалось так хорошо, что, не будь только этого одиночного заключения, я с удовольствием поселился бы в нем надолго. 9 числа, в 11 ч. утра, начался суд. Сначала, по обыкновению, читали обв. акт, потом заданы были вопросы о звании, происхождении; наконец, приступили к следствию. Первым рассматривалось дело об убийстве ген.-адъют. Мезенцова. Единственный обвиняемый, да и то не главный, а второстепенный, был я. И суд, и прокурор отнеслись к моим показаниям, касавшимся, конечно, только моего личного участия, с таким доверием, что не сочли нужным даже спрашивать свидетелей. Сущность этого показания заключалась в следующем: в январе 78 г. к поселившемуся на Екатерин. канале, на углу М. Подьяческой улицы, в квартире г. Штуцер, явился в русском татерсале в качестве хозяина известной лошади «Варвар».— 4 августа 78 г. по предварительному [соглашению] с двумя другими лицами участвовал в покушении на жизнь г. Мезенцова, при чем я лично должен был прикрывать отступление, с каковой целью и произвел выстрел из револьвера в преследовавшего нас подполковника Макарова, отнюдь не имея намерения убить или ранить его, а только задержать, остановить. Рассказал потом о критическом положении, в каком я очутился, когда лошадь наша, испуганная выстрелом, помчалась вперед, оставляя меня на произвол судьбы, как я догнал ее, как, схватившись за экипаж, тащился некоторое время по мостовой и как, наконец, после нечеловеческого усилия вскочил в пролетку. После этого председатель задал мне вопрос о причинах, побудивших меня принять участие в этом покушении. Ответа своего я не сообщаю тебе, отчасти потому, что лист оканчивается, а отчасти и по другим причинам (суд ведь был при закрытых дверях), об остальных 4-х обвинениях до следующего письма.— 18 или 19-го получил твою телеграмму, ответ на которую я получил разрешение отправить только дня через 4. Киншинский — это мой защитник. Относительно денег я отве-

тил тебе, что присылать их можно, но можно ли будет пользоваться ими — это еще вопрос: в центральных тюрьмах, например, существует правило, по которому деньги, присылаемые тому или другому арестанту, делятся на всех там находящихся, а их бывает часто несколько сот. Мне, впрочем, лишь бы были книги да табак, а относительно всего прочего думаю наложить на себя запрещение. Прошу тебя, брат, воздерживайся на будущее время от каких бы то ни было замечаний относительно моего прошлого, которое теперь тебе отчасти известно: возражать тебе я не имею возможности, а при таких условиях нечего и поднимать некоторых вопросов.

Не пишу о многом потому, что не собрался еще с мыслями.

Целую тебя, Ел. Петр., Соню. Прощай.

Твой *А. Баранников.*

34

20 марта 1882 г.

Несколько дней тому назад получил, дорогие сестры, ваше письмо. Нехорошее впечатление произвело оно на меня. «Столько надежд возлагалось на тебя и вдруг»...— вот нотка, которая звучит в каждом вашем слове. Но неужели же вы до сих пор все еще продолжали питать те «розовые», но — увы! — несбыточные надежды, которые наполняли восторгом 7—8 лет тому назад сердце моей жизни; неужели вы все еще рассчитывали видеть меня в красных штанах, в генеральском мундире, со шпорами на ногах; неужели, наконец, не ясно для вас было, что я пошел по другой совсем дороге,— по дороге, которая рано или поздно, а должна была привести меня на скамью подсудимых... Если, несмотря на все, что случилось со мной в последние годы, несмотря на мои весьма и весьма недвусмысленные письма, в которых я подготовлял вас к грядущему, если, говорю, несмотря на все это, вы продолжали пре-

бывать при своих прежних мечтаниях, то мне остается только удивляться да еще разве посоветовать теперь по крайней мере оставить эти мечты и примириться уже не с грядущим, а с совершившимся. Оставим, впрочем, это: слишком уж надоело писать постоянно одно и то же, кстати и другая тема наготове — праздники. Во-первых, исполним христианский обычай и похристосуемся; во-вторых, примите мое поздравление с этим праздником и, как водится, пожелание провести его в мире, любви и согласии; в-третьих, передайте мое поздравление и троекратный поцелуй дорогой маме, Виктору Александровичу, племянницам, всем родным и знакомым. Погода в Петербурге прекрасная, совершенно весенняя; кажется, сегодня вскрылась Нева; думаю так потому, что слышал пушечные выстрелы и пр. и пр. Прощайте, всего хорошего, целую вас всех.

Ваш *А. Баранников.*

Маша, продолжаешь ли ты читать, окончила ли Соловьева, занимаешься ли в прогимназии? Надя, знаю, погружена в хозяйство. Как здоровье мамы? Радуюсь, что ты, Надежда, наконец поправилась. Денег мне не присылайте, у меня их теперь много.

Путивль Курской губ. Надежде Ивановне Якубович

35

20 марта 1882 г.

Дорогой брат[!]

Еще 11 числа получил повестку о деньгах, но письма почему-то до сих пор еще нету. Терпение, впрочем, одно из лучших качеств человеческого характера, а потому я терпеливо ожидаю. Но зачем ты мне так много прислал, что я с ними буду делать? Больше, пожалуйста, не присылай никогда, а за эти большое спасибо. Последнее письмо отправил 2 марта, не писал до сих пор в ожидании твоего письма,

но, как видишь, не дождался. Поздравляю вас всех с праздником, каждого трижды целую, желаю в продолжение его (да и вообще) радоваться, веселиться. Аминь. В этом письме, по-настоящему, нужно было бы окончить изложение нашего процесса, которое я начал 2 марта, но, право, в нем ты не встретишь ничего интересного; с моей стороны были короткие ответы, в которых я говорил об участии своем в том или другом деле, даже и при предъявлении обвинения в принадлежности к тайному сообществу мне не пришлось излагать целей и средств партии «Народная Воля», так как раньше меня на тот же вопрос отвечали пять моих товарищей; я присоединялся только к заявлению этих последних. Оставляю, поэтому,— да и потому еще, что извлечение из обвин. акта помещено в «Прав. вест.», как писала сестра,— процесс в стороне. Скажу лучше несколько слов о своих странствованиях, о местах, которые посещал, о положениях, в которых был... Если бы писать об этом подробно, то получилось бы нечто вроде Одиссеи, с тою, конечно, разницей, что главным действующим лицом был бы не Уллис, а А. И. Баранников; чудесного же и невероятного было бы столько же. Оставил я училище, как тебе известно, в конце апреля 76 г. С дорожной сумкой, в которой находились две тетради с заметками, в руках, с веселой улыбкой на лице, с бесчисленными надеждами в сердце спускался я в три часа пополудни 27 апреля по парадной лестнице 1-го в. п. училища. С товарищами, при помощи которых я устраивал этот побег, все было условлено раньше, так что, когда я пришел к ним, мне уже было приготовлено платье, в которое я переоделся, чемоданчик, паспорт (фальшивый, конечно), деньги и пр. В 9 часов вечера того же 27 апреля я сидел уже в вагоне Николаевской жел. дороги, который двигался по направлению к Москве. Нигде не останавливаясь, доехал я до Ростова-на-Дону, где в то время был сборный пункт для всех новичков, имеющих намерение отправиться «в народ». Недолго прожил я в Ростове, всего какую-нибудь неделю, и, переодевшись,— теперь уже в лапти и сермягу,— отправился в этот самый народ. Все лето 76 года я терся таким образом

среди пришлых рабочих, которые наводняют летом весь юг, работал на пристани, нагружая и разгружая барки, плоты, вагоны; на рыбных ловлях, где чуть было не утонул, в качестве косаря и пр. Побывал в Таганроге, Новочеркасске, Ейске, Бердянске, Мариуполе, Мелитополе; при переходах из одного города в другой ночевать приходилось под открытым небом, где-нибудь в сторонке от большой дороги, во ржи, в пшенице, под телеграфными столбами. Днем солнце беспощадно жгло меня своими лучами, ночью еще беспощаднее кусали комары; непривычная обувь до крови растирала ноги; мешок, в котором находились две-три рубашки, свитка да еще кое-что, оттягивал плечи... Эх, время, время, счастливое время! Как, несмотря на все это, хорошо жилось тогда, как легко дышалось, каким восторгом наполнялась по временам душа!.. Эх, господа, если бы кто-нибудь из вас мог взглянуть тогда в мою душу, с какой радостью, думаю я, променял бы он свое прочное, обеспеченное положение на полное случайностей, неудобств. Волнение мешает окончить. Целую тебя.

А. Баранников.

Елизавету Петровну и Соню целую. Пишите.

Адрес: Вас. Ив. Баранникову, начальнику Рущукского артиллерийского склада.

ЗАВЕЩАНИЕ
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА БАРАННИКОВА.

Друзья!

Один лишь миг остается нам до края могилы. С глубокой верой в свое святое дело, с твердым убеждением в его близкое торжество, с полным сознанием, что по мере слабых своих сил служил ему, схожу со сцены.

Вы переживаете великую минуту, воспользуйтесь же всеми ее последствиями. Помните, что власть правительства опирается на меньшее, чем когда-либо, число искренних приверженцев. Оно успело возбудить ненависть во всех. Еще одно усилие — и оно перестанет существовать.

Готовы ли вы? Обладаете ли вы достаточными силами?

Помните, что тогда выступят на сцену права народа распоряжаться своими судьбами.

Живите и торжествуйте. Мы торжествуем и умираем [1].

---

[1] Небезынтересно это завещание Баранникова сопоставить с завещанием его сопроцессника, друга и соратника по «З. и В.» и «Н. В.»— Александра Михайлова, помещаемым на стр. 158.

[МИРОВОЗЗРЕНИЕ БАРАННИКОВА [1]]

По своим убеждениям, по своим конечным, отдаленным целям я социалист, как деятель данной минуты, по целям ближайшим я народник. Под народничеством я понимаю стремление к осуществлению народных требований, народных желаний, народного идеала в том их виде, в каком они существуют в настоящую минуту. Познакомившись, при помощи чтения и личных наблюдений, с прошлым и настоящим русского народа, я пришел к глубокому, непоколебимому убеждению, что осуществление народного идеала, его дальнейшее свободное развитие и совершенствование приведет народ ближайшим путем к социалистическим формам общественной жизни. Вот, между прочим, причина, почему я, социалист по убеждениям, являюсь народником на практике: в народном идеале я вижу зародыш, зерно, из которого разовьется желательный для меня лично общественный строй. Но это только между прочим: я народник еще и потому, и главным образом потому, что с глубоким уважением отношусь к выработанным народом формам общественной жизни и ни за кем — будь то социалисты, буржуа или дворяне — не признаю права при посредстве физической силы ломать, коверкать их на свой образец, не признаю права насиловать Н[ародную] В[олю]. Итак, сво-

---

[1] Настоящим документом был найден мною среди писем Баранникова к родным. Может быть, он был передан им через защитника Баранникова. Можно бы подумать, что это проект речи на суде, но достоверено известно, что никакой речи на суде Баранников не произносил.—*В. Ф.*

бодное выражение и главное осуществление Н[ародной] В[оли], а впоследствии—охранение ее от посягательств врагов и пропаганда социалистических идей,—вот цель, во имя которой я работал, по мере своих сил и способностей, в продолжение 5 лет, вот, насколько я понимаю, задачи партии Н[ародная] В[оля], членом которой я имею честь быть. Из характера этой ближайшей цели вытекает в общих чертах и характер средств для ее достижения. Я уже сказал, что народ имеет свои собственные излюбленные идеалы, которые жаждет, стремится осуществить. На всем пространстве русской истории мы видим следы этих усилий, видим борьбу начала народного с чуждым ему началом государственным. Я не буду указывать на отдельные явления, в которых борьба эта проявляется; их очень много, а главнейшие из них известны каждому; скажу только, что протестует, борется народ двояким образом: пассивно, избывая от налагаемых на него сверху обязанностей, и, время от времени, активно, в открытой борьбе с государством. В этом последнем случае народные массы поднимаются и движутся вперед под одним общим знаменем; на нем ярко блистают магические для народа и страшные для его врагов слова, выражающие сущность народных требований, слова З[емля] и В[оля]. Организация такого восстания, обеспечение ему, путем предварительной деятельности, верного успеха, призыв, направление и поддерживание его; приведение во что бы то ни стало к победе и, наконец, закрепление за народом плодов этой победы,—вот, по моему мнению, средства, какими партия Н[ародная] В[оля] хочет достигнуть своей ближайшей цели, вот исходные пункты ее практической деятельности. Отсюда и сама деятельность совершенно естественно распадается на две части: с одной стороны — в деревне, в народе; с другой — в городе, как правительственном центре; с одной стороны — организаторская по отношению к народу — в широком смысле этого слова — и партии; с другой — разрушительная по отношению к правительству. Здесь считаю уместным сделать следующее важное замечание. Деятельность организаторская, как указывает самое название, имеет целью сплочение разрозненных

масс вокруг одного центра, вокруг И[сполнительного] К[омитета], во имя одной общей цели, во имя осуществления Н[ародной] В[оли] посредством: широкой и повсеместной агитации, по возможности, социалистической пропаганды в среде наиболее выдающихся представителей из крестьянства, рабочих, войск, в более, относительно, широких размерах среди молодежи и так называемого интеллигентного общества; книги, брошюры, газеты, прокламации; заведение связей и знакомств во всех сферах общества... принцип, который должен лечь в основание организ. деятельн.—

Я не вхожу, конечно, в подробности и совсем не [касаюсь] по очень понятной причине, приемов, техники. Это одинаково относится и к последующему: я хочу говорить о Деятельности Разрушительной. Главны[м] и сильнейш[им] охранителем существующ[их] экономич[еских] и политических отношений в России является правительство. Оно располагает милионною армией, многотысячной полицией, чиновничеством; в его ведении нах[одится] суд, т. е. свобода и жизнь обывателей; 19 февраля 61 г. оно урегулировало и теперь поддержив[ает] невыгодные для народа земельные отношения, устанавливает и распределяет налоги; распоряжается миллионами десятин казенных земель... и проч. Неудивительно поэтому, что мы в борьбе с существующим строем, в борьбе за права народа главного врага видим в Правит[ельстве], на него обращ[аем] преимуществ[енное] внимание. Все остальные обществен[ные] группы в России, враждебные по своим интересам народу, без содействия правительства ничтожны по своим силам; сами по себе, в настоящее по крайней мере время, не в состоянии противодействовать народу, не в силах помешать осуществлению Н[ародной] В[оли]. Вот почему мы придаем такое важное значение непосредственной борьбе с прав[ительством]. Это не значит, конечно, что я политич[еский] револ[юционер]; утверждать это могут только люди, совершенно незнакомые с сущностью народных требований. Эти последние глубоко экономического характера, а потому и революция во имя их осуществления должна быть названа революцией социальной.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОТОКОЛЫ ДОЗНАНИЙ

Протокол № 191

1881 года февраля 9 дня я, отдельного корпуса жандармов подполковник Никольский, на основании закона 19 мая 1871 года, в присутствии товарища прокурора СПБ. суд. палаты А. Ф. Добржинского расспрашивал нижепоименованного, который в дополнение своих объяснений от 6 сего февраля показал:

Зовут меня. Настоящее мое имя Александр Иванович Баранников, я сын капитана, ныне умершего, служившего в последнее время перед смертью в лейб-гренадерском Эриванском полку близ Тифлиса; отроду мне 23 года, вероисповедания православного. Воспитывался я сначала в Орловской Болтина военной гимназии, откуда по окончании курса в 1875 году поступил в 1-ое военное (Павловское) училище, которое оставил по собственному желанию в апреле 1876 года. С этого года я не виделся даже и с своей сестрой, Марией, обучавшейся в Смольном институте; с матерью же, с другой своей сестрой Надеждой и братом Василием не виделся с августа 1875 года. Был в 1877 году за границей, между прочим в Черногории во время войны ее с Турцией, и сражался в рядах черногорских войск с турками. Возвратился из-за границы в конце 1877 года и с тех пор проживал в разных городах Российской империи. Под какими фамилиями я проживал по оставлении Павловского училища до дня арестования моего под фамилией Алафузова — сказать не могу. К дознаниям не привлекался. По существу дела я дам

объяснения при следующих расспросах.

Александр Иванович Баранников.

Отдельного корпуса жандармов
подполковник *Никольский.*

Товарищ прокурора палаты *Добржинский.*

Дознание о террористах № 45, т. I

1881 года февраля 10 дня я, отдельного корпуса жандармов подполковник Никольский, на основании закона 19 мая 1871 года, в присутствии товарища прокурора СПБ. суд. палаты А. Ф. Добржинского расспрашивал нижепоименованного, который в дополнение своих объяснений от 9 сего февраля показал:

Зовут меня Александр Иванович Баранников. По поводу предъявленных мне обвинений: 1) в принадлежности к Русской социально-революционной партии, фракции террористической, 2) в принятии участия в Липецком съезде, где была выработана программа действий террористической фракции, организация Исполнительного комитета, членом которого я состоял, где обсуждались разные террористические мероприятия и в числе их был решен вопрос о покушении на жизнь священной особы государя императора, 3) в участии в убийстве шефа жандармов Мезенцова и 4) в участии в покушении 19 ноября 1879 года в Москве на жизнь государя императора, для чего был сделан подкоп из дома, купленного там на имя Сухорукова,— поясняю:

Я член партии «Народная Воля»; она едина и фракций не имеет. Главная, ближайшая цель ее — политический и экономический переворот в России, ниспровержение существующего правительства или путем заговора, силами партии, или же путем самостоятельного, широкого, народного, антиправительственного движения, к которому присоединится партия; первая форма, конечно, предпочтительнее, ибо партия в этом случае, как в минуту борьбы, так и после победы, будет пользоваться большим авторитетом. Итак, главное средство партии — это заговор, во главе которого станет Исполнительный комитет. Пропаганда, агитация, террористические акты и пр. служат средствами для

распространения идей партии, для привлечения в организацию возможно большего количества новых сил как из среды общества, так и из среды народа, причем террор, как это видно, не есть единственное средство, хотя во всяком случае одно из главнейших. Террор, как орудие борьбы, будет существовать до тех пор, пока партии не предоставится полная свобода пропагандировать свои идеи. После переворота партия считает своей обязанностью охранять народную свободу от чьих бы то ни было на нее посягательств; с этой целью она из среды своей выбирает и назначает членов и организует «Временное правительство». Задачею же «Временного правительства», облеченного широкими правами и полномочиями, будет организация во всей стране свободных, ничем не ограниченных выборов из среды народа представителей в «Учредительное собрание», которому Временное правительство и передаст свои права. Учредительное собрание будет пользоваться законодательной и исполнительной властью в тех границах, какие будут предоставлены его членам избирателями; на его обязанности будет лежать начертание основных принципов нового общественного устройства, в смысле, конечно, тех инструкций, какие члены его получили от избирателей, и тех деталей, какие могут быть общими для всей страны. Итак, центральным правительственным учреждением будет «Учредительное собрание», оно будет ведать вопросы общегосударственные; местное же устройство и местные вопросы будут предоставлены ведению «Окружных собраний», которые будут организованы по образцу «Учредительного собрания».— Вот, по моему мнению, в общих чертах цель и средства партии «Народная Воля»; вот каким путем партия думает достигнуть своей ближайшей цели — предоставления народу возможности устроиться сообразно его собственным желаниям. Программа эта была предложена партии Исполнительным комитетом и ею принята. Программа Исполнительного комитета была выработана, как я слышал, на Липецком съезде, там же и намечены основные принципы организации партии, способ привлечения в ряды партии новых членов, установление

стношений между Исполнительным комитетом и партией и пр., но все это, повторяю, я слышал, сам же на съезде не участвовал: там были только члены Исполнительного комитета, к числу которых я не принадлежал. Я же в настоящее время агент 3-й степени, и состою им с лета 1879 года (июль или август). Заговорив о своих отношениях к Исполнительному комитету, не могу не упомянуть о своих отношениях к революционному делу и к революционным группам, предшествовавшим по времени народовольческой деятельности и партии «Народная Воля». Начну с первого дня, ибо условия моей жизни заставили меня не постепенно пристраиваться к делу, а сразу порвать со старым и сделаться деятелем. 1875 года в августе месяце я прибыл в Петербург и поступил против своего желания, подчиняясь чисто материальным соображениям (отсутствие денежных средств), в 1-ое военное Павловское училище. Чтение и товарищеские разговоры еще в гимназии натолкнули меня на массу вопросов, разрешение которых с каждым днем становилось для меня все более и более настоятельным; не мудрено поэтому, что, получив возможность читать все, что мне вздумается, я главное внимание свое обратил на те книги, на тех мыслителей, которые так или иначе отвечали на эти вопросы. Рядом с этим я получил возможность доставать и книги запрещенные: газеты и журнал «Вперед», сочинения Лаврова, Бакунина и др. Явилось страшное желание познакомиться с действительной жизнью, с действительными страданиями людей, попробовать свои силы в борьбе за народное благо, за народное освобождение. По убеждениям своим я был тогда так называемым «лавристом», т. е. думал о привитии народу социалистических принципов путем пропаганды и о проведении их в жизнь путем сознательной народной революции. Для осуществления своего желания пришлось бросить училище, что я и сделал; уволиться было нельзя, а посему пришлось уйти; чтобы не возбуждать подозрений, я в письме, оставленном на имя ротного командира, сказался утопившимся. В тот же вечер, в который я ушел из училища, я, переодевшись в штатское платье и получивши

деньги, выехал из Петербурга на юг. В одном из южных городов прожил недели две, а затем отправился «в народ». Дальнейшие показания откладываю до следующего раза. Всему зачеркнутому и сверху написанному прошу верить.

Александр Баранников.

Отдельного корпуса жандармов
подполковник *Никольский.*
Товарищ прокурор суд. палаты *Добржинский.*

Протокол № 201

1881 года февраля 11 дня я, отдельного корпуса жандармов подполковник Никольский, на основании закона 19 мая 1871 года, в присутствии товарища прокурора СПБ. суд. палаты А. Ф. Добржинского расспрашивал нижепоименованного, который в дополнение своих объяснений от 10 февраля показал:

Зовут меня Александр Иванович Баранников. Программа моих экскурсий была приблизительно такая: изучить народ посредством личного с ним столкновения и затем влиять на него в том или ином духе, словом или делом, вторая часть ставилась вообще в зависимость от первой. Все это, напоминаю, было весной (я ушел из училища 27 апреля 1876 г.), когда на юг из центральных губерний стекается масса рабочего люда на заработки, и посему сталкиваться, вести разговоры на всякие темы, узнавать и расспрашивать можно бы было вволю. Но беда была в том, что на меня, как на человека, впервые попавшего в такую обстановку, не умевшего даже запрячь лошади, не говоря уже о других необходимых в крестьянском быту знаниях, смотрели как-то странно, подозрительно, разговоры по душе были редки. Чувствовалась необходимость сделаться крестьянином или рабочим в полном смысле этого слова, и я порешил поступить в кузницу для изучения ремесла, с тем чтобы в будущем открыть в деревне свою кузницу. Уезды, по которым я до сих пор странствовал, были: Ростовский, Бердянский, Мариупольский, был в Таганроге, Ейске. Под какими фамилиями и где я это время проживал — не помню; могу только сказать, что проводил время преимущественно под открытым не-

бом, работая в качестве носильщика, косаря, рыболова и др. и ночуя на базарах, в старых амбарах, на полях, под телеграфными столбами... там, одним словом, где застанет ночь; так же, нужно заметить, проводят время и все пришлые рабочие, особенно при безработице. Итак, я пристроился в кузнице, в каком городе и в какой кузнице я работал, сказать не могу, ибо обнаружу этим свои отношения к легальным людям, находящимся на свободе. 7—8 месяцев, которые я там провел, были употреблены главным образом на изучение ремесла и жизни ремесленников; кроме разговоров, выясняющих отношения рабочих к хозяевам, ничем преступным не занимался. В апреле 1877 года я уехал оттуда в Петербург, остановился в каких-то меблированных комнатах по Лиговке или Фонтанке, но скоро переехал на нашу общую квартиру и жил там без прописки от 2 до 3 недель. В этот приезд в Петербург я был принят в члены партии «Земля и Воля», которая начала свое существование с осени 1876 года; принят я был в члены этой партии вследствие, во-первых, сходства во взглядах и, во-вторых, близкого знакомства с людьми, уже бывшими ее членами. Программа партии «Земля и Воля» значительно отличалась от программы так называемых «лавристов»: не насаждать в народе социализм и не во имя социалистических идеалов поднимать его (народ), а, организовав, поднять его во имя требований, уже в нем существующих, требований, которые он всасывает в себя с молоком матери, требований земли и воли. Освобождение народа от эксплоататоров, являющихся в виде помещиков, купцов, кулаков, правительства и др., и предоставление ему возможности устроиться сообразно его собственным желаниям — вот цель партии, организация народных сил в деревне и городе и восстание — вот средство. Эта программа отличается от программы партии «Народная Воля», по моему мнению, только тем, что последняя главного и самого сильного врага, поддерживающего всех остальных и более мелких, видит в правительстве, а первая большее значение придавала другим народным эксплоататорам. Логическим последствием этой разницы является разница и в сред-

ствах: в то время когда партия «Земля и Воля» главное внимание народа и свое собственное обращает на помещиков, кулаков и пр., партия «Народная Воля» обращает его на правительство. Работать в среде народа в этом духе мне пришлось недолго. В начале мая 1877 года я выехал из Петербурга в Нижегородскую губернию, Ардатовский уезд, под фамилией Мартынова (кажется) и пристроился там в селе Храпунове в кузнице; недели через 2 или 3 приехали жандармы и заставили бежать, что мне, благодаря выгодно сложившимся обстоятельствам, и удалось. В июне месяце я из села Храпунова приехал в Москву и проживал там без прописки, ночуя у знакомых, до половины августа, когда уехал за границу, именно в Черногорию, где и служил в отряде Пеко Павловича. Приехал я туда с целью познакомиться поближе с условиями борьбы мелких партизанских отрядов с регулярными войсками и приобретенные там познания употребить с пользою в минуту народного восстания на родине. Дальнейший допрос отложен до следующего раза. Зачеркнутому и сверху написанному прошу верить.

Александр Иванович Баранников.

Отдельного корпуса жандармов
подполковник Никольский.
Товарищ прокурора СПБ суд. палаты *Добржинский.*

Протокол № 214

1881 года февраля 13 дня я, отдельного корпуса жандармов подполковник Никольский, на основании закона 19 мая 1871 года в присутствии товарища прокурора СПБ. суд. палаты А. Ф. Добржинского расспрашивал нижепоименованного, который в дополнение своих объяснений от 11 сего февраля, показал:

Зовут меня Александр Иванович Баранников. В январе 1878 года, кажется в начале, я выехал из Черногории в Россию и в конце января или начале февраля был уже в пределах Российской империи. С этого момента жизнь моя так переплетается с жизнью других людей, что я не считаю возможным выделить себя и

говорить только о себе, а посему биографию свою на этом и заканчиваю. В дополнение к своим показаниям считаю необходимым прибавить, что признаю свою полную солидарность и принимаю на себя ответственность перед народом и обществом во всех фактах, коими заявили себя партии «Земля и Воля» и «Народная Воля», последняя с Исполнительным комитетом во главе. По поводу двух последних пунктов обвинения, а также участия в Липецком съезде, о принадлежности к Исполнительному комитету, заявляю: членом Исполнительного комитета не состоял и не состою: я агент Исполнительного комитета 3-й степени; в Липецком съезде не участвовал; в деяниях, поименованных в двух последних пунктах обвинения, участия не принимал.

На вопросы, где я находился в августе 1878 года и именно 4-го числа этого месяца, когда было совершено убийство генерала Мезенцова, а также в сентябре, октябре и ноябре 1879 года и 19 ноября 1879 года, когда было покушение в Москве произвести взрыв императорского поезда во время следования государя императора,— поясняю: в виду тех же обстоятельств, о которых я упоминал и выше, отвечать на эти вопросы не могу.

На вопросы отвечаю: Адриана Михайлова, Сергея Кравчинского я не знаю и в 1878 году не проживал под именем Тюрикова в квартире Надежды Штуцер в Петербурге с Адрианом Михайловым, проживавшим уже в то время под именем Поплавского.

Из предъявленных мне фотографических карточек лиц, коих вы называете: Адриан Михайлов — он же Поплавский, Лео Златопольский, Клеточников, Колоткевич, он же Петров, Макар Тетерка — он же Веселовский и Березов, Софья Перовская, она же Сухорукова, Халтурин, Кибальчич, Тураева, Александр Михайлов, он же Поливанов, Фриденсон, он же Агатескулов, я знаю только Александра Михайлова и Агатескулова; первого под фамилией Поливанова, а последнего под фамилией Фриденсона не знаю. С Александром Михайловым знаком с детства, а с Агатескуловым с конца декабря 1880 года, познакомился с ним

у общих знакомых, назвать коих не желаю. Михайлова в последний раз встречал в 1875 году дома, а Агатескулова в половине января в 1881 году в его квартире. В оправдание свое по обвинениям в участии в убийстве генерала Мезенцова и покушении на взрыв императорского поезда 19 ноября 1879 года в Москве ничего представить не имею. Надписанному и зачеркнутому верить.

Александр Иванович Баранников.

Отдельного корпуса жандармов
подполковник *Никольский.*
Товарищ прокурора СПБ суд. палаты *Добржинский.*

Протокол № 235

1881 года февраля 23 дня я, отдельного корпуса жандармов подполковник Никольский, на основании закона 19 мая 1871 года, в присутствии товарища прокурора СПБ. суд. палаты А. Ф. Добржинского расспрашивал нижепоименованного, который в дополнение своих объяснений от 13 сего февраля показал:

Зовут меня Александр Иванович Баранников. На вопрос о том, женат ли я или холост, отвечаю: женат в 1879 году, кажется, 15 апреля я сочетался законным браком с вдовой Марьей Николаевной Ошаниной, урожденной Оловенниковой, под фамилией и по документам сына священника Вятской епархии, бывшего студента Петровско-Разумовской Земляческой [Земледельческой.— *В. Ф.*] академии Ипполита Константиновича Кошурникова. Обстоятельства, при которых совершился этот брак, следующие: с г-жей Ошаниной я познакомился в Петербурге во время пребывания ее на фельдшерских курсах при общине св. Георгия весной 1877 года. Знакомство было чисто студенческое, так что сказать, кто меня представил ей, довольно затруднительно: на это не обращалось внимания. До 1879 года мы встречались много раз при моих приездах в Петербург. В одно из моих посещений я был приглашен ею в деревню погостить; приглашением этим я и воспользовался весной 1879 года. Перед приездом я сделал ей письменное предложение, она его приняла и в Орел я приехал уже как ее жених.

В Орел я приехал в марте 1879 года, остановился в гостинице «Асман», познакомился с семейством своей невесты и условился относительно обряда венчания, который мы порешили совершить в их деревне, село Покровское, что на Липовице. С этой целью я отправился туда и сделал необходимые приготовления. Вслед за этим, когда приехали моя невеста и ее родные из Орла, где они все жили, был совершен и самый обряд. В деревне я занимался хозяйством, охотился, ездил верхом, посещал соседей. В июне месяце, когда мне жить в деревне надоело, я оттуда выехал, условившись с женой встретиться в Петербурге в июле месяце. Говорить об обстоятельствах, заставивших меня расстаться с женой, я считаю неудобным. В июле я действительно был в Петербурге, а через неделю или полторы после моего приезда приехала и жена. На Большой Московской улице мы с ней наняли две комнаты в доме № 11 у какой-то польки, фамилии которой не знаю. В августе 1879 года я ходатайствовал у петербургского градоначальника о выдаче отдельного вида моей жене, при чем представлял вид и метрическое на имя Кошурникова; отдельный вид от градоначальника получил, в чем и расписался на ныне предъявленном мне предписании канцелярии с.-петербургского градоначальника от 11 августа 1879 года за № 26477 приставу 2-го участка Московской части (было предъявлено предписание градоначальника, имеющееся в деле о выдаче вида Кошурниковой). На вопрос, кому я передал вид, полученный от петербургского градоначальника на имя моей жены, отвечать не желаю. С женой я расстался в конце августа 1879 года и после того с ней не встречался. Сведения об ней я после имел, но откуда и каким образом, объяснить не желаю. Где ныне находится моя жена — не знаю. Из родных моей жены знаю: мать ее Любовь Даниловну Оловенникову, сестер: Елизавету и Наталью Николаевен Оловенниковых, брата Михаила Николаевича Оловенникова, теток: Софью Даниловну (фамилии не помню), Аграфену Даниловну (фамилии не помню и Елизавету Даниловну Бучневскую и дядюшек двух: Петра Николаевича и имени другого не

помню; они мужья сестер моей тещи.— Зачеркнутому и написанному сверху прошу верить.

Александр Иванович Баранников.

Отдельного корпуса жандармов
подполковник *Никольский.*

Товарищ прокурора СПБ суд. палаты *Добржинский.*

Показание 2 апреля 1881 г.

Зовут меня Александр Иванович Баранников.

По поводу совершившегося 1 марта 1881 года убийства государя императора Александра Николаевича могу объяснить следующее: никаких определенных сведений о месте, времени, способе убийства и лицах, участвовавших в нем, я не имел. Но из столкновений с лицами, которые, как я предполагал, принадлежат к центральному кружку партии, и из глухих, ходивших в конце декабря 1880 г. и январе 1881 г. слухов в среде революционеров, я заключал, что центральный кружок имеет на руках какое-то важное, конспиративное дело. На основании прошлых фактов, а также на основании прокламаций по поводу казни Квятковского и Преснякова и последних №№ «Народной воли», можно было думать, что мысль о повторении покушений на жизнь государя императора не оставлена и попрежнему составляет задачу кружка. Сопоставивши эти два обстоятельства, я, естественно, в числе догадок о том, какое у кружка на руках дело, имел в виду и это последнее, т. е. покушение на жизнь государя императора. Итак, это было не определенное сведение, а соображение, догадка. Раз мне кружок не сообщал в положительной форме о своих начинаниях, он, понятно, ничего не сообщал и о месте, времени и способе покушения, а также и лицах, которые в нем примут участие. Но опять-таки на основании собственных соображений (прошлые факты) я в вопросе о способе останавливался на следующих трех: подкоп, метательный снаряд и револьвер, первый и последний потому, что они были уже применены, а второй потому, что о нем поговаривали (был слух, что метательные снаряды в

последнее время значительно усовершенствованы), о месте же, времени и лицах я не мог даже догадываться. О том, что у партии есть динамит, я знал, но где он готовился и сколько его — мне было неизвестно, не знал я также ничего и об опытах, производившихся над метательными снарядами, о которых (опытах) меня спрашивал г-н прокурор. Повторяю снова, что все вышесказанное есть только соображения и догадки; положительных сведений у меня не было.— К вышеупомянутому событию 1 марта 1881 года я отношусь сочувственно и считаю его целесообразным в интересах партии, к которой принадлежу. Всему зачеркнутому и сверху написанному прошу верить.

Дворянин *Александр Иванович Баранников.*

Отдельного корпуса жандармов
подполковник *Никольский.*

Товарищ прокурора палаты *Добржинский.*

Показание 6 апр. 1881 г.

Зовут меня Александр Иванович Баранников.

Признаю, что я участвовал в убийстве бывшего шефа жандармов генерал-адъютанта Мезенцова 4 августа 1878 года с двумя лицами, коих назвать не желаю, и из коих один был кучером и сидел на козлах, а другой сидел со мной на тех дрожках, на которых мы после убийства скрылись. Живя в квартире Штуцер по Малой Подьяческой улице под фамилией Тюрикова и имея свою лошадь и экипаж в татерсале «Крах», я неоднократно выезжал как зимою, так и летом 1878 г. пробовать лошадь. Затем после фактов, опубликованных в выпущенной по поводу убийства генерала Мезенцова прокламации, когда было решено покушение на жизнь этого лица, мы, выследив его, 4 августа сделали нападение на Михайловской площади, при чем я должен был прикрывать отступление того лица, которое совершило убийство. С этой целью я, после того как мой сотоварищ нанес удар, а спутник г. Мезенцова бросился за ним в погоню и готов был схватить его, выстрелил на воздух (по предварительному уговору— т. к. при слежении мы убедились, что г. Макаров не

охранитель шефа, а простой спутник). Мой выстрел действительно остановил г. Макарова и дал нам возможность уехать. В это время я жил на общественной квартире и прописан не был. Назвать квартиры не желаю. Дальнейший допрос прошу отложить до следующего раза. Зачеркнутому и написанному сверху прошу верить.

Дворянин *Александр Иванович Баранников.*
Отдельного корпуса жандармов
подполковник *Никольский.*
Товарищ прокурора палаты *Добржинский.*

Показание 18 мая 1881 г.

Зовут меня Александр Иванович Баранников. В половине сентября 1879 г. я вместе с Андреем Пресняковым жил в Петербурге по Гончарной улице в домах № 5 или 7. Прожили там день или 1½. Пресняков был прописан под фамилией Масленникова. Отсюда мы уехали вместе в Харьков, куда я отвез в 2 чемоданах динамит и проволоку, полученные мною от кого — сказать не желаю. В Харькове остановились в какой-то гостинице, где я также не был прописан; с кем там встречался, сказать не желаю. Прожив в Харькове до половины октября, я уехал в Москву, где в доме Сухорукова и прожил там до 12—15 ноября, словом, до отъезда оттуда Гольденберга в Одессу за динамитом. Проживая в доме Сухорукова, принимал участие в приготовлениях ко взрыву полотна на Курской железной дороге во время проезда по ней покойного государя императора.

В 1880 г. в июне или июле принимал участие в заложении динамита под мостом на Гороховой улице (названия моста не помню); динамит этот предполагалось взорвать во время проезда через мост покойного государя. После того как покушение это не удалось, я вместе с несколькими другими лицами пытался заложенный динамит вытащить, но безуспешно. Сотрудников своих при заложении и вытаскивании заряда, а также и лиц, с которыми по этому делу переговаривал, назвать не желаю.

В 1881 году в январе месяце принимал участие в приготовлениях ко взрыву на М. Садовой улице из магазина Кобозева; взрыв предполагалось произвести во время проезда государя императора. Лиц, с которыми вел дело, назвать не желаю.

В доме Сухорукова я никакой фамилии не носил, а Гольденберг мог знать меня под фамилиею Кошурникова. Участие мое в событии 1 марта выразилось в том, что я, вместе с другими лицами, ломал стену, выходящую на улицу. До моего ареста мы успели только разобрать стену; к прорытию же тоннеля приступили, вероятно, позже.

Предъявленные мне два якоря (кошки) похожи на те, которыми мы вытаскивали из-под моста динамит.

О метательных снарядах ничего не знаю. Зачеркнутому и надписанному верить.

Дворянин *Александр Баранников.*

Отдельного корпуса жандармов подполковник *Никольский.*

Товарищ прокурора палаты *Добржинский.*

ПИСЬМО К ОЛОВЕННИКОВЫМ

Дело департамента полиции о злодейском преступлении 1 марта 1881 г. № 79. 1881 г., ч. 4.

I

На конверте адрес: С.-Петербург. Ее высокоблагородию Елизавете Николаевне Оловенниковой. В Штаб С.-Петербургского жандармского правления близ Цепного моста

8 октября 1881 г.

Что с вами, Елизавета Николаевна? Что наложило печать такого упорного, а, главное, такого продолжительного молчания на ваши уста? Или уже прискучила переписка? Скоро же в таком случае. Конечно, и помимо этого может существовать масса причин — это только самая для меня нежелательная. По всей вероятности, вы не получили моего последнего письма (от 13 сентября), но неужели же мы, родственники, будем считаться друг с другом письмами, как в «порядочном» обществе считаются визитами? Мне, правда, приходят в голову и другие соображения. Судя по вашему настроению, по состоянию вашего духа,— насколько они отразились в ваших письмах,— по высказанным вами самими в известном четверостишии, оканчивающемся словами: «Знать, мой рассудок собирается в путь», опасениям,— я боялся, не находитесь ли вы в настоящее время на так называемой 9-й версте (не ручаюсь впрочем, может быть, и на 1-й). Но все подобного рода соображения я, по очень понятной причине, гоню прочь от себя... Чуть-чуть было опять не забыл...

В продолжение нашей переписки, каждый раз как принимался за письмо, имел твердое намерение спросить о своей любезнейшей дочери[1] или, вернее, падчерице, но заболтаешься обыкновенно с вами и забудешь. Пусть же вопрос о ней будет хоть в этом последнем письме, в письме, на которое я не получу уже ответа.

Жизнь моя все это время текла ровно, спокойно, никаких бурь и треволнений не было: уныло, однообразно тянулись один за другим дождливые осенние дни, не оставляя по себе никакого следа, никакого воспоминания. Замечу вообще, что все восемь месяцев (уже 8 месяцев!!), проведенные мною в тюрьме, представляются мне в каком-то тумане, они для меня как-будто вовсе не существуют, тем ярче зато выступает мое богатое событиями прошлое... Кстати (а, может быть, и не кстати, но все равно): в одном из своих писем вы выражали сожаление, недовольство даже своим характером; вы говорили, что если бы теперь очутились каким-нибудь образом на воле, то не были бы уже такой мертвой, какой были до ареста. Говоря откровенно, мне ужасно не нравятся подобные поздние сожаления. Я всегда злился, когда встречал людей... Какое, однако, безобразие, я не могу склеить по-человечески двух-трех фраз... Этот сырой и холодный петербургский воздух сковал меня точно цепями и лишил способности шевелить мозгами. Невольно вспоминается при этом другой октябрь, другая природа, другие люди — я говорю об октябре 77 года, который я провел на северном берегу Адриатического моря[2] (вам это, конечно, неизвестно). Дивное голубое небо, здоровый горный воздух, 19 с небольшим лет на плечах — как все это веселило сердце!

Такое более чем безалаберное письмо посылаю вам в наказание за ваше молчание; чтобы усилить его еще на одну или две степени, прибавлю: все сказанное о моем настроении есть произведение моей фантазии

---

[1] Падчерица — дочь М. Н. Ошаниной (урожд. Оловенниковой Елизавета); воспитывалась у бабушки своей Любови Даниловны Оловенниковой. — *В. Ф.*

[2] В Черногории. — *В. Ф.*

(она у меня очень не богата) и совсем не соответствует действительности. О, я вижу отсюда, как вы хмурите брови, и радуюсь! Прочтя первую половину моего письма, вы наверное поехидствовали на мой счет приблизительно в таком роде: «ага, смеялся надо мной, а теперь сам чувствует себя еще хуже, чем я!» Думаю, что я достаточно отомстил («без освете нема посвете» [1],— говорят черногорцы) вам за ваши провинности (я до сих пор еще не забыл, к кому вы меня приравняли в своем предыдущем письме!). Опять кстати: я с нетерпением жду встречи с той особой, с какой вы сравнили меня, (вы, конечно, помните: с дьяволом), и ожидаю встретить у него там самый радушный прием: там, во-первых, будет тепло так же, как и на экваторе (а, может быть, и еще теплее), а, во-вторых, будет самое отборное, милое общество.— Не решаюсь просмотреть своего письма и отсылаю его со всеми его прелестями. Всех благ земных и небесных желает вам[2]

А. Баранников.

---

[1] Без мести нет спасения.

[2] 24 сент. 1881 г. за № 777 комендант Петропавл. крепости сообщает в департамент полиции, что Елизавета Оловенникова в последние 3—4 дня начала выражать ненормальное нравственное состояние, сопровождающееся плачем, криком и усиленным возбуждением нервов... Вчера вечером пыталась посягнуть на самоубийство сначала стуканьем головою о каменную стену камеры, а затем посредством удушения себя находившимся при ней носовым платком...

14 октября Елизавета Бучневская обратилась в департамент полиции с просьбой в виду тяжелой болезни ее племянницы Елизаветы Оловенниковой разрешить пригласить к ней специалиста по душевным болезням.

Департамент разрешил посещение больной ассистентом при клинике душевных болезней военного госпиталя докт. Львом Рагозиным.

Елизавета Николаевна Оловенникова после ареста впала в продолжительную душевную болезнь. Об этом см. статью Лифшица в журн. «Пролетарская революция», подробно и тепло описывающего историю этой болезни. Вслед за заболеванием Елиз. Николаевны заболела (неизлечимо) и сестра ее Наталья, которая в свое время поддерживала по поручению Исп. комитета «Народной Воли» сношения с Клеточниковым.

Что касается Елиз. Ник., то с 1901 г. она начала оправляться, но до самой смерти в 1932 г. носила следы болезни.

II

14 марта 1882 г

Сначала удивлялся, потом злился, наконец, начал беспокоиться, но все это ни к чему не вело: вы продолжали молчать. С сентября и до половины января я не имел о вас никаких сведений. Масса предположений, одно хуже другого, являлось в моей голове, но действительность, признаюсь, превзошла самые мрачные из них. Что с вами, дорогая кузина, зачем так скоро свалились вы? Зачем... зачем... и пр. Эх, вы, молодые люди, то ли дело мы, старики. Посмотрите, какими молодцами все выглядим до сих пор!.. Поудержусь, впрочем, от такого рода замечаний. Господь вас знает, как вы еще отнесетесь к ним, — обращусь прямо к делу. Предварительное замечание. Я никогда не решился бы беспокоить вас этим четвертым своим письмом (не получивши предварительно ответа на три предыдущие), если бы необходимость не заставила меня сделать это. Дело, видите ли, вот в чем. Ваша сестра Наталья Николаевна несколько дней тому назад передала для меня деньги. Тюремные правила требуют, чтобы я известил ее о получении, но так как адрес вашей сестры мне неизвестен, а она его не оставила, то я и осмеливаюсь покорнейше просить вас прилагаемое при сем письмо передать в ее руки. Еще одна просьба (не слишком ли много?). В переплетной мастерской Дома предв. заключения находится, или по крайней мере находилась, моя книга — Бокль. Если она уже готова, а это несомненно, то попросите кого-нибудь из начальства мне ее переслать. Низкий поклон и пр. знаки глубокого уважения шлет вам ваш покорнейший слуга и вместе все еще ваш *А. Баранников*. Ответите ли вы?

Если вам почему-либо не передадут приложения к сему письму, то пришлите мне адрес Наталии Николаевны: я отправлю тогда к ней.

Адрес: Елизавете Николаевне Оловенниковой. Здесь, Шпалерная, Д. предв. закл.

III

14 марта 1882 г.

Многоуважаемая и вместе добрейшая Наталья Николаевна [!] Следовать заповедям Христа, конечно, очень похвально, но и тут, мне кажется, должны быть известные границы. Когда вы хотите, например, облегчить положение заключенного в темнице, то нельзя сообразоваться только с бесконечной добротой вашего сердца, а нужно принимать во внимание еще и отношение этого заключенного к вещественным выражениям ваших стремлений к спасению. Я с удовольствием принимал в продолжение 2 недель произведения бр. Елисеевых, Рабона и др., с благодарностью взял переданные вами 25 р., но вы этим не ограничились и... пересолили. В самом деле, мне было очень, очень неприятно получить от вас еще раз деньги и белье (!!), а между тем отказаться от них я уже не мог, потому что узнал о них только на второй или на третий день после того, как вы их принесли. Подумайте же, Наталья Николаевна, о моем нехорошем настроении и не ухудшайте его. Видите ли, стоит ли после этого заботиться о людях, когда они... такие невежи: вместо благодарностей посылают еще выговоры. Посоветуйте Любовь Даниловне[1] похлопотать о формальном разводе. Брак мой с Марьей Николаевной, как я узнал, не может считаться законным, а потому устроить это будет нетрудно, у нее же, да и вообще у вас, благодаря этому, целая гора с плеч свалится: не придется считать в числе своих родственников лишенного всех прав состояния и пр. Признайтесь, неприятно ведь это. А засим позвольте мне выразить вам и вашему семейству свое глубокое уважение, благодарность и пр.

А. Баранников.

Деньги 100 р. я получил 11 сего марта.

---

[1] Любовь Даниловна Оловенникова — мать Марии Николаевны Ошаниной, урожд. Оловенниковой, обвенчавшейся с Баранниковым (он женился под фамилией Кошурникова) в 1879 г.

ЗАВЕЩАНИЕ
АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА МИХАЙЛОВА

16 февраля 1882 г.

Завещаю вам, братья, не расходовать сил для нас, но беречь их от всякой бесплодной гибели и употреблять их только в прямом стремлении к цели.

Завещаю вам, братья, издать постановление И. К. от приговора А. и до объявления о нашей смерти включительно (т. е. от 26 авг. 1879 г. до марта 82 г.). При них приложите краткую историю деятельности организации и краткие биографии погибших членов ее.

Завещаю вам, братья, не посылайте слишком молодых людей в борьбу на смерть. Давайте окрепнуть их характерам: давайте время развить все их духовные силы.

Завещаю вам, братья, установить единообразную форму дачи показаний до суда, при чем рекомендую вам отказаться от всяких объяснений на дознании, как бы ясно оговоры или сыскные сведения ни были. Это избавит вас от многих ошибок.

Завещаю вам, братья, еще на воле установить знакомства с родственниками один другого, чтобы, в случае ареста или заключения, вы могли поддерживать какие-либо сношения с оторванным товарищем. Этот прием в прямых ваших интересах. Он сохранит во многих случаях достоинство партии на суде. При закрытых судах, думаю, нет нужды отказываться от защитников.

Завещаю вам, братья, контролировать один другого во всякой практической деятельности, во всех мелочах, в образе жизни. Это спасет вас от неизбежных для каждого отдельного человека, но гибельных для всей организации ошибок. Надо, чтобы контроль вошел в сознание и принцип, чтобы он перестал быть обидным, чтобы личное самолюбие замолкло перед требованиями разума. Необходимо знать всем ближайшим товарищам, как человек живет, что он носит с собой, как записывает и что записывает, насколько он осторожен, наблюдателен, находчив. Изучайте друг

друга. В этом сила, в этом совершенство отправлений организации.

Завещаю вам, братья, установить строжайшие сигнальные правила, которые спасли бы вас от повальных погромов.

Завещаю вам, братья, заботиться о нравственной удовлетворенности каждого члена организации. Это сохранит между вами мир и любовь; это сделает каждого из вас счастливым, сделает навсегда памятными дни, проведенные в вашем обществе.

Затем целую вас всех, дорогие братья, милые сестры: целую всех по одному и крепко, крепко прижимаю к груди, которая полна желанием, страстью, воодушевляющими и вас. Простите, не поминайте лихом. Если я сделал кому-либо неприятное, то, верьте, не из личных побуждений, а единственно из своеобразного понимания нашей общей пользы и из свойственной характеру настойчивости.

Итак, прощайте, дорогие. Весь до конца ваш

Александр Михайлов.

Библиотека
193 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Вступительная статья В. Н. Фигнер
Александр Баранников—народоволец 7

Письма:

Письма 1875 года 55
Письма 1881—1882 годов 60
Завещание Александра Ивановича Баранникова . . 133
[Мировоззрение Баранникова] 134

Приложения:

Протоколы дознаний 139
Письма к Оловенниковым 153
Завещание Александра Дмитриевича Михайлова . 158

Цена 2 р. 50 к.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

Магазину Издательства Политкаторжан:

Москва, центр, Петровка, 7; телефон 4-18-12 и 3-63-20